

Священник Николай Блохин

Пепел

Роман об ушедшем времени



Священник Блохин

Пепел

«Издательские решения»

Блохин С. Н.

Пепел / С. Н. Блохин — «Издательские решения»,

«Пепел» — последний роман о. Николая. Это роман об ушедшем времени, об утерянной Державе. Автор призывает задуматься о той трагедии народной, которая постигла всех нас в революционную эпоху. Белый пепел от сожженных портретов Государя, от тел мучеников, от выжженных церквей. Этот пепел как бы свидетельствует о чистоте и святости — о тех ценностях, которыми жила и дышала Российская Империя. Сегодня, в эпоху глобального противостояния, верность державности и вере вновь становится актуальной.

© Блохин С. Н.

© Издательские решения

Содержание

Глава 1	7
Глава 2	11
Глава 3	14
Глава 4	17
Глава 5	21
Глава 6	24
Глава 7	29
Глава 8	32
Глава 9	36
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Пепел

Роман об ушедшем времени. Часть I

Священник Николай Блохин

© Священник Николай Блохин, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru



Священник Николай Блохин

Глава 1

На громадной резной дубовой двери (а в Таврическом дворце все такие) висел прибитый ватманский лист, на котором значилось: «Всероссийская чрезвычайная комиссия по расследованию преступлений Царского режима».

«Сюда», – полковник Свеженцев остановился и толкнул дверь.

За дверью располагался весьма просторный кабинет с также резной мебелью, в центре которого стоял толстоногий длинный стол под красным сукном. Во главе стола в кресле вальяжно располагался толстолицый крупноносый и кучерявый господин, явно штатский, но в зеленом английском френче под горло. Нынче эта форма одежды называлась «полувоенной». Сей термин, как и многое другое в начавшейся новой жизни, весьма забавлял полковника Свеженцева. Он всегда думал, что все, кроме военного мундира, есть – штатское. И почему тогда всех носящих английский френч под горло не называть «полуштатскими»? Что же касается «многого другого», забавлявшего его, то оно, разгонявшееся, все меньше забавляло и все больше раздражало и пугало. В его дороге с фронта забавного вовсе не было, а вот страшного – через край.

Толстолицый полувоенный-полуштатский господин улыбался в пол-лица, пребывая в прекрасном благодушном настроении, беседуя с сидящим рядом, через угол, человеком, явно другого свойства, чем он сам. Человек с отрешенным взглядом слушал вполуха хозяина кабинета, время от времени вскидывая на собеседника свои поволочные серо-зеленые глаза. Полковнику показалось, что эти глаза способны обратить в тоску все, на что вскидывались, но только не хозяина кабинета, чья улыбка обратилась в хохот, когда вслед за очередным вскидыванием тоски из серо-зеленых глаз рокотнуло сумрачным басом:

– Я не боюсь шрапнелей! Но!.. запах войны и сопряженного с ней – есть хам-с-тво!

Услышав такое, полковник Свеженцев оторопело застыл у двери. Что этот тип в глаза не видал шрапнели и вряд ли знает, что это вообще такое – было вполне ясно, да и ладно. Полковник Свеженцев три года ходит под шрапнелью и за собой знает точно, что шрапнели противника он боится. Три года он в войне, вступив в нее поручиком, и обо всем, что сопряжено с нею, знает не понаслышке, но причем тут «хам-с-тво», да еще с такой интонацией? С сим вывертом загадочной фразы прямой бесхитростный ум полковника совладать никак не мог. И, видать, сей загадочности в этой рыжей с крупными завитками кудрей голове – в преизбытке: ни свет, ни тьма, а некий таинственный сумрак...

Продолжая хохотать, толстолицый поднялся и пошел навстречу вошедшему:

– Рад приветствовать. По-видимому, вы тот самый полковник...

– Свеженцев.

– Вот именно... который сегодня должен прибыть.

– Меня ввели в комиссию...

– И вы зачем-то это введение приняли. Ну, да ладно, будем совместно искать, как говаривал один умный китаец, в темной комнате черную кошку, которой там вовсе нет, ха-ха-ха... Кстати, рекомендую, – хозяин кабинета сделал плавный жест в сторону вскинутых серо-зеленых глаз. – Великий наш поэт российский. Наши потомки, так сказать, завидовать нам будут, что в одно время с ним жили. А мы, так сказать, уже гордимся... Александр Александрович Блок, певец революции!

Великий томно покачал головой:

– Ну, уж, Исакушка, – затем назидательно поднял палец вверх: – Не только певец, но и – слушатель! Слу-у-у-шатель революции. Я как поэт... ищу душу революции. Она прекрасна. Делайте все, как я: всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слу-у-шайте революцию... О, как болезненно остро ощущал я гибель той революции... а ведь я приветствовал ее востор-

женно... Но – терпение!.. – назидательный палец полез еще выше. – Гневной зрелости было долго ждать, и вот – дождалась, созрела злоба народная... – тонкие губы таинственно улыбались, серо-зеленые глаза были полуприкрыты и весь облик Великого излучал загадочную недоступность.

Полковнику Свеженцеву стало тошно и как-то не по себе. Он не испытывал болезненных ощущений от гибели той гадины, которую означенный Великим назвал «той революцией», он был тогда среди тех, кто и прихлопнул ее, хотя ему едва минуло пятнадцать лет.

В той кровавой оргии, что устроили повывлазившие из нор-логовищ «ревпевцы» под восторженные песни их подпевал и всякого рода «слу-у-ушателей» он потерял отца – городского одного из Пресненских околотков, убитого сзади трубой пьяным «ревпевцом». Сам москвич, пресненский житель, он, гимназист-выпускник, ничего не понимал: что вдруг случилось, откуда, почему, зачем и за что?! Правда, порознь и скопом, всей своей гимназической бражкой они льнули ко всем студенческим сходкам («старшие братья!»), млели от их свободомыслия, млели от собственной причастности к свободомыслию: двестише сам, помнится, сочинил, а «старшие братья» одобрили:

«Оно свободы никак не усвоит,
Оно от свободы – городовоеет...»

Отец, помнится, был страшно озадачен и ошарашенно смотрел на сына: «Неужто это ты?..». Ясное дело, что «Оно» – это то, на страже чего стоял его отец, где все не так, все не так, все не так, а главное городовоество от свободы... И вот вдруг – повывлазило. Откуда, почему, зачем и за что?!

Его отец – честнейший из честных, добрейший из добрых, всей Пресней уважаемый, строгий усами и зычностью: «А ну, шпанята, ко мне! Хрумкать леденцы будем! На всех хватит! В ваши годы леденцы не сосут, а – хрумкают». И его сзади – трубой!..

Убийцу он догнал, и его же трубой прикончил, это оказался один из «старших братьев», а на напарнике его остыл, тот ползал перед догнавшими его и выл:

– Помилосердствуйте, православные!.. бес попутал, Шмуль-аптечник пятерку дал, иди, говорит, бей витрины, бей «фараонов»!

– Шмуль?! Ты на Шмуля не кивай, за свое отвечай!

Пощадили тогда воющего напарника...

– А что из моего последнего вам нравится? – слышалось как сквозь пелену рокотанье.

– Ничего, – выдохнул Свеженцев.

– Как?! – серо-зеленость вскинулась удивлением.

– Да не читал я ничего вашего, ни первого, ни последнего!

– Сашенька, да успокойся. Он же с фронта, а не с вашей поэтической сходки, – говоря это, хозяин кабинета пристально глядел на полковника, больше не улыбался, и глаза его были излучающе-размышляющими. – Кстати, полковник, как добрались?

– С проблемами. По-моему, после 1 марта расписания поездов не существует. Никакие мандаты-литеры не существуют, у кого кулаки больше и оружие посерьезней – тот и едет. Одного в вагоне собственноручно пристрелил. Это был первый выстрел моего «Парабеллума 08», я ведь артиллерист, тяжелыми орудиями командую.

– Как?! – хозяин кабинета деланно-укоризненно покачал головой и улыбнулся притом лишь слегка. – Мы тут, так сказать, бескровную устраиваем, а вы, член, так сказать, ВЧК, в поезде пальбу, самосуд устраиваете?

– Я, простите, как военный человек обязан это делать! Устраивал защиту пассажиров от бандита... да нет... не бандита, он – отморозок: бешеную собаку не выводят к суду при-

саяжных, ее пристреливают. Как только что отметил Александр Александрович, созрела злоба, дождалась...

«И тот пощаженный напарник убийцы отца, созревший, теперь – не пощадит,» – вот так додумалось сказанное.

– Да это же прекрасно, господин половник! Да вы присаживайтесь, присаживайтесь, – хозяин кабинета вновь улыбался, уже вполне снисходительно. – Только надо не пристреливать, а – на-пра-влять, направлять злобу в нужное, так сказать, русло. Александр Александрович, тогда, в пятом году, в своих необыкновенных стихах очень четко определил – куда. В его стихах такой заряд ненависти к змеиному лику самодержавия, к прогнившему хлеву сытых и господствующих, ко всей старой скуке и к утробно-гнилой жизни, что-о-о!.. И вот – направили, и той России больше нет!

– Да, России больше нет! – рокотнуло внезапно, и вздыбленная серо-зеленость из-под тонких век уперлась в полковника, и никакой томности-сумеречности там и следа не было. – То есть нет того, что мы называли – Рос-си-ей!.. Содержанием всей жизни становится Всемирная революция, во главе которой встанет новая Россия!.. Мы так молоды и сильны, что в несколько месяцев совершенно поправимся от 300-летней болезни. Наша демократия обладает непреклонной волей. Но! – теперь серо-зеленость пылала яростью, – тот больной, давно гнивший – теп-ерь он издох!! – будто залпом из тяжелой пушки ухнуло. – Но он еще не похоронен, смердит, толстопузые мешане злобно чтут дорогую им память трупа...

Фраза внезапно прервалась звуком, похожим на пушечный выстрел – это Свеженцев по столу кулаком грохнул:

– Я чту дорогую память... и не трупа! Рано хороните!

Артиллерийский взгляд прямой наводкой вмиг погасил полыхание серо-зеленой ярости.

«Боже, куда меня занесло...» – тоскливо подумалось сразу после выкрика, и артиллерийский взгляд упал на сукно.

– Интересно, как вас занесло в нашу ВЧК? – участливо, но с несколько ироничной улыбкой спросил хозяин кабинета.

– Да, давайте конкретно.

– Да, давно пора.

– Простите, как вас?..

– Машбиц моя фамилия, ударение на «а», Ицхак Борисович.

– Так вот, – полковник так и не произнес ни фамилии с ударением на «а», ни имени и отчества, – я по поводу писем... ну... переписки Царской, где фигурирует этот...

– Кто, простите?

– Гришка. Я был свидетелем его гулянки в «Яре», в Москве. Это ужас, что он с женщинами творил, что орал... Царь, который приблизил к себе такого, не имеет права править!..

И тут хозяин кабинета разразился таким сочным хохотом, что полковника отшатнуло.

– Бр-раво! – воскликнул хозяин кабинета, сожалея в тот момент только о том, что нельзя одновременно хохотать и говорить... – Ве-ли-ко-лепно! А мы-то, дурачье, старались, оглядывались... ха-ха-ха, – прорвался хохот сквозь тираду, – а тут – новоиспеченный в окопах полковник молоденький решает, ха-ха-ха, имеет право править его Царь или не имеет! Не имеет, – хохот обвалом обломился... – Точнее, не хочет, не захотел управлять полковниками, решающими в перерывах между стрельбой, имеет ли Он право править.

Изрядное усилие приложил хозяин кабинета, чтобы вновь не расхохотаться. Усилие изрядное и серьезное. С чего вдруг понесло? Сам себе был поражен. Выдержка, выдержка и еще раз выдержка. Такая игра, такие задачи, а тут! Ну, дурак мальчишечка, полковничек 27-летний... но отчего-то вдруг захотелось уничтожить его, уесть, чтоб мордой в дерьмо, показать, кто ты (вы все!) есть, услышать в ответ хоть какое рявканье... да пусть за пистолет схватится, у меня он тоже есть! Вот наваждение...

– Вы ведь приветствовали отречение, не так ли, полковник?

– Ну-у...

– Блестящий ответ!

– Да перестаньте вы! Да, я приветствовал конкретное отречение в пользу конкретного нового монарха. Монарха!

– Ну, а его-то вы своим окопным решением одобрили? – сдержался, вопрос сопровождался только гмыканьем, но не хохотом.

– Да, но я никак не ожидал...

– Блестящий ответ. А теперь ожидайте Учредительного собрания. А оно изберет республику. А вообще-то, хватит о том, чего будет потом. Итак, о письмах. Так что вы хотели-то?

– Прочесть и опубликовать.

– А зачем? Обличать уже ушедшее?

Свеженцев слегка смешался. А действительно, зачем? И получалось так, что всего лишь затем, чтобы задавить клокочущую ярость от лицезрения гульбища этого... От лицезрения преступных писем... задавить? А может, еще больше растравить? Тогда, вернувшись назад на фронт в свой дивизион, месяц в себя не мог прийти, все из рук валялось, солдаты его не узнавали. А если б еще, в довесок, письма полицезреть?..

– Я хочу видеть переписку! – проговорил полковник тоном, каким приказывал солдатам: «К орудиям!»

– Извольте, – и с замершей на пухлых щеках ухмылкой хозяин кабинета извлек из ящика стола и поставил на сукно деревянную шкатулку, площадью с пол-ученической тетрадки, а высотой дюйма два.

– Что это?

– То, что вы просили. Двести писем. Все, что было в моем распоряжении, все здесь.

Зыркнув недоуменно на ухмыляющегося Машбица, полковник открыл шкатулку. Она доверху была наполнена пеплом. Белым. Такого пепла он никогда не видел. Пепел от бумаг – черный. Свеженцов поднял глаза на хозяина кабинета. Тот, хоть и сам не лыком шитый, однако пожегился, с непредсказуемостью фронтовиков он уже имел дело. Но тут же и успокоился, не даром, что не лыком шитый. Пожал плечами.

– Да, господин полковник, это единственное применение и судьба этих писем с позиции нашей ВЧК...

– Пойду я, Ицхакушка, – устало вздохнул вдруг Великий. – У меня через час встреча с Набоковым. Нужно кое-что обсудить об Учредительном собрании.

– Иди, Сашенька, иди. Набокову – ревоклончик. Учредиловка – это нынче – у-у! Учредильничайте, – и на этот раз сдержался, не рассмеялся.

Глава 2

– ...Да и увы, господин полковник! Опубликовать эти письма было никак нельзя, можете сколько угодно расстреливать меня своими тяжелыми крупнокалиберными глазищами. Это я у Блока набрался, прошу прощения. Если б мы их опубликовали, то авторам бы этих писем уже сейчас молиться начали бы, как святым, а нас, кстати, и вас, через повешение обратили бы вот в это, – хозяин кабинета указал мясистым пальцем на шкатулку. – Вот так. Что же касается персоны, которая вас так мучает, то о ней там весьма мало, там они просто сообщают друг другу, что просят у сей персоны молитв.

– Да какие от него молитвы! Что он тогда про Царицу орал! Жаль, что не я его убил, а мог тогда... На Благовещенье гулял! Уж два года прошло, а перед глазами это гульбище стоит.

– Ну а вас-то чего на Благовещенье в «Яр» занесло? Хотя, конечно, коли отпуск, да деньги есть, как же без «Яра»?

– Это мое дело...

– Вне сомнения, делайте его дальше. Значит, говорите, убить его хотели? Можете это сделать сейчас. Адрес есть. Вот он.

Теперь в глазах полковника ничего, кроме недоумения не было.

– Не понял.

– Сейчас поймете. И – шрапнельку в сторону, готовьте береговые орудия, двадцатидюймовые... Настоящая фамилия его – Фунфыриков. Актер. А фамилия точно из Гоголя, не правда ли? Уж не знаю, кто и как его наградил, но – Фунфыриков, на самом деле. Сволочная спившаяся морда, но спившаяся как бы не окончательно. Термин «спившаяся морда» не терпит рядом с собой никаких «как бы», но в данном случае – исключение, как исключение его фамилия. Играл эпизодические роли, в основном алкоголиков, и как играл! Очень специфическая морда лица... загримировать можно под кого угодно – от князя Мышкина до Квазимодо. А он, как мастер, вытянет и Мышкина и Квазимодо. Карьера не состоялась по причине крайнего сволочизма характера, пьянства и плюс – патологический бабник. Все три качества он и должен был продемонстрировать в «Яре» в позапрошлом Благовещенье. Судя по вашей реакции, продемонстрировал блестяще. Главная трудность в подготовке была в том, что память, подлец, почти всю пропил, а памяти надо было много. Все фотографии, кто за столом с ним будет, ему показали, вроде запомнил, а после пяти стопок (на репетиции) начал путать, мерзавец. Правда, на самом спектакле до тридцатой стопки держался, путать начал после тридцать пятой, когда уже невменяем стал. Ну, «по сценарию», оно так и предполагалось. Вы его, видимо, где-то на двадцать пятой застали, как раз тогда ему врать про Царицу положено было, кондиция позволяла. Вообще-то, его память, когда не пропита была – это же сто Цезарей! Сначала, на предварительной беседе, ерепенился: мол, про Царицу слова плохого не скажу. Перестал ерепениваться, когда я перед ним на стол мешок денег вывалил – всегда решающий аргумент против любой ерепенистости. Он, оказывается, в тринадцатом, на Романовских торжествах в Москве (он москвич) на каком-то приеме «Боже, Царя храни!» солировал. Бас у него, да еще какой!.. талантами не обижен. Ну и Царице тогда особо глянулся, может и оттого, что в самом деле похож на того персонажа, которого в моей пьесе в «Яре» играл. Она ему медальончик серебряный подарила со своим изображением и лично собой связанный шарфик темно-синей шерсти. И, доложу вам, здорово связан! Царица, тире, мастерица, ха-ха-ха!.. А ободочки к шарфику кто-то из Царевен вязал, и на шарфике букочки белые, вязанные – клеймо фамильное: «О.Т.М.А.» – Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. У меня с этим клеймом тоже вещица имеется, в Ливадии в двенадцатом на благотворительном базаре покупал, у Царицы покупал! – хозяин кабинета развел руки в стороны и рассмеялся. Что творилось с полковником по мере пояснения – он видел, и это его еще более раззадоривало. – Салфеточка с вышивкой всегда

при мне. Оч-чень ценю и оч-чень храню, ха-ха-ха! А тот медальончик Царицын и шарфик всегда при нем были, то бишь, при актрисе Фунфырикове; чего он только не пропил, своего и чужого, а эти подарочки хранил, держался.

На представлении был в шарфике и, согласно моему тексту, орал: «Во, Мамка мне связала!», и это было во истину так, ха-ха-ха! А на репетиции говорю ему: сморкнись в шарфик, так он ни в какую. Я ему на стол еще полмешка красненьких, но так и не уговорил. Ну да ладно, свое отработал. Человека, которого хочешь использовать, нельзя ломать, сломанный человек ни на что не годен. Человека надо над-ла-мы-вать, надломанный пьяный русский способен на все...

Нет, не заменилась шрапнелька двадцатидюймовыми снарядами берегового орудия, растаяла в глазах всякая твердость. И не только в глазах, кости стали ватными, мышцы – студнем, мозг – пуст, сердца не чувствовалось. Полковник Свеженцев начал сваливаться со стула, и свалился бы, не подхвати его вовремя хозяин кабинета, гражданин Машбиц Ицхак Борисович.

– Э-э, полковник!.. Экие вы все... стрелял бы себе из своих тяжелых, чего в Комиссию полез!..

– Зачем вы?.. – прохрипел полковник.

– Зачем вам это говорю? – перебил хозяин кабинета. – Ай, какие мы нервные! Все фронтовые артиллеристы такие? Бедная наша артиллерия.

– С артиллерией все в порядке, – часто и глубоко дыша, полковник приходил в себя. – Зачем вы это делали?!

– А у меня, извините, директива была. Устная директива, и ни кого-нибудь, а тогдашнего Верховного Главнокомандующего, Великого Князя Николая Николаевича: *любой ценой* порочить того, кого вы Гришкой назвали. По-моему, получилось, а? Соизволите в обморок упасть? Нашатырчик не требуется? Вздумаете за пистолетик схватиться, я и это проходил, у меня тоже имеется, и ежели на вскидку, кто вперед, то вам до меня, как до Луны, только держитесь, во лбу пулю будете иметь... И чего вдруг такая реакция, коли сами жаждали отречения? Радуйтесь! Революция – это грандиозный спектакль, одну из малюсеньких сцен которого вы изволили наблюдать в «Яре» на позапрошлом Благовещеньи, в качестве зрителя. А спектаклю, извините, актеры надобны, вроде Фунфырикова и Сашеньки Блока, ну и – ре-жис-се-ры!.. – щекастую физиономию расперла издевательская улыбка. – Оставайтесь-ка, милейший, зрителем, и – аплодируйте! Недавно я еще одну директиву выполнил, и тоже – устную: был вынут из могилы и сожжен труп столь ненавистного вам персонажа. Зрелище было достойно грандиозности всеобщего спектакля. Кстати, пепел с того кострища тоже белый почему-то, как в этой шкатулке.

– Шкатулку я заберу.

– Ой, да и на здоровье! А завтра можете быть свидетелем еще одной сценки всероссийского спектакля: похороны «жертв революции» под сопровождение «Вы жертвами пали...» Ну и, как вы догадываетесь, режиссером опять я. Беда, что жертв мало, особенно в «Царском». Убитые городские не в счет, хотя их очень много, но... туда и дорога...

– Городские?! За что?!

– Что, опять нашатырчику? Как это за что? Они же против революции, они олицетворение старого мира! Ну и понятно, революционным трудящимся и солдатским массам это не по нраву. И здесь режиссеры бессильны перед реакцией публики, – хозяин кабинета картинно развел руки в стороны. – И, скорее всего, их будут еще долго отлавливать и, увы, убивать.

– Но городской – это никак не олицетворение! Это страж порядка, охранитель мирных жителей!..

– Толстопузых мещан? Им скоро тоже достанется, как и кое-кому из офицерского корпуса. А наших, увы, но к счастью, мало пало в борьбе роковой. Всего шесть человек нашли. Угорели, бедолаги, в подвале магазина, спьяну. Пришлось подыскивать для кворума... Нашли

в морге покойницу-кухарку, ну и на Казанском кладбище пришлось выкопать то, что осталось от давно похороненного стража (а он оказался из тех, кто в пятом бунт в Питере подавлял, ха-ха-ха!). А похороним мы их на лужайке в Александровском парке, прямо под Царским кабинетом, то бишь, бывшим кабинетом бывшего Царя.

Ну, а теперь, что ж, не смею, так сказать, задерживать. Скатертью, так сказать, дорога. О!.. Я вот тут все думал, как бы обозвать сотрудников нашей ВЧК, чтоб профессионализм звучал, ну вроде как: жестянщик, токарь и т. д. И придумал. Мы – че-ки-сты! Букву «В» лучше опустить, она дисгармонизирует. Эдакое нависающе шипящее: чекисты! Вам, увы, им не бывать. Ну, и, надеюсь, что в этом кабинете мы видимся в последний раз. Деятельность в ВЧК тяжела для тяжелой артиллерии.

Глава 3

Тоска, пустота, безысходность – эти три злодейки ползали в душе полковника Свеженцева, когда брел он назад к вокзалу. И непогодилось под стать этому ползанию: мело и морозило так, будто не конец марта, не середина Пасхальной недели, а середина января, под Крещение.

«Зритель... действительно – театр, и двери заперты, не убежать. А со сцены уж по зрителям стрелять начали. Эх, подвести бы к этому „театру“ полк РГК...»

– Ваше Высокоблагородие, Ваше Высокоблагородие...

Остановился, обернулся на голос. Перед ним стоял рядовой Хлопов, заряжающий из четвертого дивизиона, тоже москвич, четыре месяца тому назад тяжело раненый.

– Христос Воскресе!

– Воистину Воскресе! Здорово Хлопов. Рад видеть тебя. Вылечили?

– Так точно. А вы, чаем, не заболели? На вас лица нет!

– Пытаюсь выздоравливать. Когда обратно в часть?

– Никогда. Демобилизован по полной, с пенсионом. Ходить, печь топить могу, а воевать – нет.

– Ну и Слава Богу, что отвоевался. Езжай домой, в Москву нашу, матушку, отцу помогать дыни выращивать, да самому детей рожать, а то за войну Москва отошла населением.

– Нет, Ваше Высокоблагородие. Дыни я уже отвыращивал, а детишек рожать и не собираюсь, я в монахи подаюсь.

– Чего?! Да ты что?!

– А что это вы так? А чего ж тут такого-не такого, в решении таком? Я не семейный, обязанностей кормить кого-то у меня нет – родитель мой сам пол-Москвы прокормит. А решение в ангельском чине жизнь окончить, чего ж тут, чтоб вскидываться эдак, будто я объявил, что в разбойники подаюсь?

– Да это я так... никто еще мне такого решения за всю мою жизнь не объявлял. Так, с чего это ты все-таки?

– А Григорий Ефимыч, старец святой жизни, зверски убиенный, меня благословил, когда лазарет наш посещал, а Царица-Матушка благословенье сие монаршей своей волей утвердила. Эх, попались бы мне сейчас, пока еще не монах, убийцы его, самолично б пополам разорвал!

Полковник Свеженцев вздохнул и, глядя себе под ноги, сказал:

– Ну ладно, давай в монахи, а я прямо сегодня – в полк.

– А вот и нет, Ваше Высокоблагородие. Вам тоже надо особое в жизни решение принимать: нашего полка больше нет.

– Что?!

– Вот то самое. Я прямо сегодня, час назад, расстался с земляком моим, командиром орудия моего.

– Зубиным?! А он-то как здесь?

– А вот так. Сразу после вашего отъезда... А правда, Ваше Высокоблагородие, что вас в эту комиссию назначили?

– Правда, но я из нее вышел.

– Слава Те, Господи! Ну так вот, Приказ №1 притащили из этого совдепа, а в приказе том... ой, ну, в общем, армии конец. Пока вы там были, приказа этого полк не видел и не слышал, ну а как уехали... преступления Царского режима расследовать, тут-то наш полк и расследовали. Зама вашего, которого вы за себя оставили, убили...

– Серого?!

– Да, подполковника Серого убили, Царство ему небесное. Зубин, который против всего этого был, едва ноги унес. Ну и собралась шайка этих... депутатов с каждого дивизиона.

А больше всех изголялся командир нашего, капитан Снычев, то он ведь Серого-то убил. Ну, его и избрали в командиры нашего артполка РГК вместо вас. И постановила эта шайка, то бишь, ревсовет, грузиться и – в Питер, на защиту революции. Так что скоро наши снарядики десятидюймовые будут по Невскому летать, революцию защищать. Не приведи, Господи, застать.

– И... и куда ж мне теперь? – полковник Свеженцев впервые в жизни по-настоящему растерялся. Выслушивать словесные издевательства от полуштатского во френче, это совсем не то, что услышать о развале вверенного тебе полка, солдаты которого стали теперь бандитами, защитниками спектакля, срежессированного полуштатскими во френчах. А и то: разве может не развалиться полк, коли нет уже Того, Кто тебе этот полк вверил?..

– Вы, Ваше Высокоблагородие, лучше в штаб округа идите, хотя... как мне сказал земляк мой, Зубин, там тоже совдеп правит, но... но хоть не пристрелят сразу.

«А ведь Пасха! Светлая идет!» – всплеснулось вдруг в совсем сникшем сознании полковника Свеженцева. Всплеснулось ни с чего, само собой, вспомнилось нечаянно. Всем, чем угодно, занята ноющая тоской душа, но только не тем, что – Праздников Праздник на дворе!

«Рас-сле-дователь, твою раз-так...»

Последняя фраза, почти вслух проскрежещенная, тоски резко поубавила.

– Слушай, Хлопов, а почему звона не слышно? Ведь звонить должны – Светлая! Помнишь, как у нас в Москве?

– Эх, сравнили! То ж – Москва! Разве ж от такого вот Таврического будет должное звука отраженье? Да если он еще этой шушерой набит. Эх, пушечку б мою шас сюда, да по шушере! Во звон был бы, почти как в Москве...

Тут полковник, не сдерживаясь, громко расхохотался:

– Ну, тогда тебя в монахи точно не возьмут!

– Почему? По полному чину покаяние совершу и – хватит. Это ж все одно, что в бою против германца, а это – хуже германцев. Ну, эпитимью наложили б... А вообще-то – нет, этих пострелять, а с остальными что делать? Никаких снарядов не хватит. Да и приказать некому, а Государь этого никогда б не приказал. Снарядами назад мозги не повернешь. А пушечка моя этих таврических сейчас защищать едет. От кого только? Ну да ладно... Эх, стоишь, бывало, на Маросейке, около Николы Кленникова, а звук переливчатый – и от стен, и от мостовой, и от неба – он и стоит, он и рассыпается зернышками-звучиками. Где ни встань, отовсюду – перелив, потому как все намолено – и стены, и мостовая, и небо. Все особое, московское, древнее, доброе... Воздух наш московский сам знает, когда звук остановить надо, когда цельным туда-сюда вдоль улицы погонять, а когда дробинками сыпануть... А колокола? Где еще такие колокола, как в Москве? А висят как? Один на уровне головы, а другой – в ста аршинах над землей. И все со смыслом: то вместе ударят, то порознь, с хитрецей, звуки то друг на друге сидят слоенкой, а то р-раз – и рассыпаются... А шас, говорят, и там то же, что и тут. И Москва в разнос пошла. Уж скорей бы в монахи, чтоб не видеть этого ничего, хотя от нынешнего времени, видать, нигде не спрячешься, везде достанут. А и плевать! Мне теперь, Ваше Высокоблагородие, ничего не страшно, потому как три месяца целых семью Государеву через глаза и уши свои многогрешные впитывал в лазарете Ее имени Величества Государыни-Царицы нашей Александры. А Ее образ вместе с образком, Ею даренным, в сердце до смерти запечатлен, нет у меня теперь сердца без присутствия в нем Государыни Александры. Одним воздухом с Ней подышишь и – никакая боль не чувствуется, а в душе одна радость... ну, как же ее назвать-то? Ох, уж словеса наши тусклые...

– Безотчетная, – буркнул полковник, глядя себе под ноги.

– Ох, точно! Какой уж там отчет. Эх, Ваше Высокоблагородие, а не икалось вам там, у батарей наших, где-то месяца три с половиной назад? А вспоминал я вас тогда, на койке своей лежа, ох, вспоминал! Словеса ваши вспоминал к нам, солдатам, обращенные: сначала, мол, надо эту германку-интриганку из дворца изгнать, тогда и германца на фронте погоним.

А мы слушали. Дослушались. Царство Небесное подполковнику Серому и иже с ним. Уж, простите... А у меня вот такая мыслишка возникла, когда вышел я, отремонтированный, из стен того чудо-лазарета: эх... вот чтобы все солдаты и прочие всякие жители российские были бы ранеты как я и чтоб каждый из них через Царицын лазарет бы прошел, пусть хоть на минуточку, чтоб поглядел хоть на Нее вблизи, на германку-интриганку... Эх, прости, Господи!.. Чтоб слово Ее к себе обращенное услышал, чтоб перевязочку раны твоей душевной, вкупе же и телесной, Она тебе сделала, чтоб подарочек обязательный из Ее ручек получить (а образок или крестик обязательно Сама наденет), чтоб от Супруга Ее августейшего, рядом стоящего, слово ободряющее напутственное услышать! Вот и снова явилась бы тогда не Империя с этими таврическими, а Святая Русь! А таврические сами б сгинули за своей ненужностью. Эх, слова наши тусклые...

Ну, а когда ехал я в лазарет-то с такими же как я, сам еще не зная, куда еду, куда попаду, лукашка по мне очень грамотно артподготовку провел из всех своих тяжелых: и чего только не наслушался... Главное, что Царица спаивает Царя, специально спаивает, чтоб всех нас ранетых живьем поест, чтоб, значит, германцам фронт открыть. А подружка ее, Вырубова, уж так осатанела, что половину уже поела, нас, вот, ждет. И когда узнал я, куда меня привезли, струхнул, посерьезу струхнул, зря смеетесь! Ну, думаю, сейчас войдет Она и сначала загерманит, заинтрижит, а потом съест, а кости Вырубова сгрызет. Но вошла другая. Ох, я обрадовался! Вижу – простая русская баба, санитарка, из деревни явно, веселая, добрая, болтливая. Она меня и перестелила, и повязку поменяла, и все спрашивала: не больно ли? Ты, говорит, милоч, говори всегда, чего тебе нужно, не стесняйся. Эх, думаю, да чего ж мне тебя стесняться-то... А она вдруг засмеялась и говорит: «А я знаю, чего ты хочешь – закурить! Вас, курящих сразу видно, когда вы этим страдаете. Сейчас сбегаю, принесу». И убежала. А я у соседа спрашиваю: «Браток, а ты лично Вырубову видел тут? Я про нее такого наслышан!» А он хохочет: «И ты ее видел! Это она с тобой полдня возилась, а теперь за куревом тебе побежала». Не успел я в себя прийти, как тут и входит Она. Сама. В сестринском одеянии. И прямо ко мне. И первый вопрос Ее ко мне: больно? А я гляжу на Нее, оторваться не могу, и чувствую: не стало больно. Рукой по лбу меня погладила и – уснул я. Ну, так, сонного, меня и повезли на каталке, рану мою промывать. Глаза открываю и вижу Ее... Эх, слова наши тусклые!... Чуть не сказал, что идет ей сверх меры сестринское облачение. Да ерунда! Ей все идет. Но, эх... промывает она мою грязную кровавую рану, улыбается мне, как мать – дитяти, и вот тогда токо до меня дошло, **что** есть такое **сестра милосердия**, что звук сей значит: **сестра милосердия**. Вижу я, стоит передо мной Всероссийская наша Сестра Милосердия, всем нам, гадам ползучим, готовая наши раны уврачевать, а мы... И вот тут слезы из меня полились, вот уж и не думал, что они вообще во мне остались. Остались... Она спрашивает: что, больно? Больно, говорю, за душеньку мою больно. А она улыбается. У нас, говорит, и душеньку есть кому лечить, сегодня как раз обход батюшки, и Дары при нем, и очистишься, и Тела и Крови Христовой вкусишь. Промыла мне рану и в лоб поцеловала... Батюшка точно пришел, я уж на своем месте лежал. Батюшка смиренный такой, тихий, я опять же удивился, думал, придет такой, сам из себя, громкий... И, знаете, а ведь это была моя первая настоящая исповедь за всю жизнь, я ж ко всему этому относился так... абы как, «окамененное нечувствие» – так мне мое душевное нутро сей батюшка объяснил. А исповедовался в одном ведь только грехе, об остальных и не вспомнил, остальные батюшка так, общеисповедально перечислил... а грех тот один: как я, царский солдат, Царя-батюшку да Государыню, да все Их Семейство последними словами поносил да безвинных их во всех наших бедах винил,.. да смерти им желал, грехом это не считая... Понимаете, да?

Глава 4

Еще бы не понимать было полковнику Свеженцеву! Именно этот грех он никогда и за грех не понимал, и в последней своей исповеди в Великий Четверг, на которую едва уломал его поп полковой, даже и не вспомнил о своем отношении к бывшим носителям Верховной власти, которым присягу давал. И получается не исповедь, а – «в суд и осуждение», хотя это всегда были для него только слова, ничем не прочувствованные. А на исповедь уломлен был попом полковым только призывом «быть примером для нижних чинов». Пример показал, пошел под епитрахиль первым, пробубнив чего-то стандартно-традиционное, сейчас уже и не помнится – чего. Подготовка к Пасхе на батареях состояла в ожидании крашенных яиц, куличей и водки от командования и тепла и солнца от Господа Бога. А на бруствере 16-й батареи выложили камнями: «Х.В. 1917 СВОБОДНЫЯ ГРАЖДАНЕ»...

– Слушай, Хлопов, да что ж это за погода? Такой вьюги и на Сретенье не было!

Хлоповские глаза приблизились к полковничьим:

– Ну а как же, Ваше Высокоблагородие? Ветерочком посев, в закромах – вьюга... Размещает закрома. Я когда батюшке грех свой ропотный выложил, гляжу, а он ровно как улыбку прячет.... С чего это, думаю. А он и говорит, что грех сей у него исповедовали *все* тут лежащие, после того, как Царицу увидали и пообщались с Ней. Многие – со слезами, а у меня слез на исповедь не было, одна злость на себя и растерянность какая-то... Эх, словеса наши тусклые... Ну, когда германские еропланы первый раз увидел, когда они на нас из облаков свалились, меньше растерян был. И вот стал я за Царицей наблюдение вести: каждый жест Ее, каждый взгляд, каждое слово Ее ловить, все, чем веет от Нее, впитывать старался – знал ведь, что все это счастье на чуть-чуть, вроде чуда-сказки, которое скоро кончится. А оно вона как кончилось... И как Она с каждым раненым говорит, как с Супругом, когда Он изволил нас посещать, с Григорием Ефимычем... Тот при мне один раз только приходил, а его приход для меня чудом обернулся. Нога вдруг хужеть стала, а Царица как раз мне ее перевязывала, а боль жуткая, хоть вой. А я к тому времени узрел, что Она постоянно шепчет что-то: что бы ни делала и с кем бы не разговаривала, а губы едва-едва шевелятся, не шевелятся даже, а так, вздрагивают – никому не углядеть, кроме такого наблюдателя, как я. И вот, лицо Ее совсем рядом, губ движение заметней... полчаса со мной возится, дочка, царевна Татьяна, ей помогает, ну и, понятное дело, все эти полчаса губ движенье Ее не останавливается... Набрался духу, спрашиваю: «Ваше Величество, вот Вы все время шепчете, уж простите, Христа ради, что углядел». А Она (перевязывать уже окончила), села ко мне на койку, наклонилась, улыбается и говорит: «Правда твоя, солдат... точно, что шепчу... молиться пытаюсь, есть молитва такая, всем известная и самая простая: „Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную“, – это мне настоятель Андреевского Собора в Кронштадте, батюшка Иоанн, почивший, рекомендовал. Десять лет назад это было. И говорил: „Старайся погрузиться в эту молитву – и все тяготы-заботы разрешатся“. Стараюсь, шепчу да шепчу молитовку, а мало получается, и тяготы-заботы все прибывают. Такова, видать, воля Божья. А хоть и мало получается, но... если б не шептанья мои – раздавили б тяготы...» И так доверительно глядит, в пору было б заплакать, а в глазах Ее – ну прямо вижу великость тягот, что несут, несут все они, на наши гадючьи укусы не взирая!.. И еще вижу, как они погружены в то, что я и Она шептаньем назвали. Не шептанье это никакое, а настоящая, в душе сидящая молитва... всем попам, которых знаю, вместе взятым со всей их паствой, и близко недоступная! Она и тут, на кровати моей сидит, и тут же где-то в вышине небесной пребывает. И у Государя такие же глаза. Глядит Он на тебя, слушает, руку жмет, говорит и, как бы это... Эх, словеса наши... Ну, Его вроде и нет тут, с тобой говорящего. Он – везде, думы-тяготы несметные Его одолевают, а Он – их. Глядишь в такие глаза, и надо б... себя забыть, жить только для Него, а мы...

Я вот тогда, когда сидела Она на моей кровати, понял, *что* есть такое, страшная фраза из Писания: «Не прикасайтесь к Помазанникам Моим». Мыслью даже... А мы?! Хоть какой над нами дракон-крокодил был бы, Им над нами поставленный – безропотно надо принимать. А над нами-то были поставлены не драконы – Ангелы! Эх... Ну вот, и как раз тогда Григорий Ефимыч пришел. Перво-на-перво к Царице, конечно, поклонился Ей, ручку поцеловал. Гляжу я на него и вижу Божьего человека без притворства. Тут меня не проведешь, глаз у меня на сей предмет артиллерийский, притворщиков-актерчиков повидал я на своем веку. И говорит он Царице, на меня указуя: «А что, Матушка-Государыня, прибавляется у тебя подданных!» И ко мне: «Ну что, подданный, болит ноженька? Боли-ит, вижу, а ты боль-то не матершиной про себя заглушай, а молитвой вслух! Сейчас утишим болячку», – кладет руку мне на одеяло и дальше говорит: «Пантелей-мученик, утишь боль новоподданному Державы Российской, рабу Божьему... имя как?» Иван, говорю. «Ивану,» – громко возгласил.

– И что, прошла боль? – спросил полковник.

– Прошла. И зря усмехаетесь.

– Да не усмехаюсь я, так...

– Так вот, все у нас – «так». Ну вот... а тут входит хирургичка главная, княжна Гедрейц, и ну прямо волком глядит на Григория Ефимыча и что-то сердито шепчет ему, Царицы не стеснясь. Потупился он и ушел. Мне б убийцы его попались!.. А я тогда говорю Царице: Ваше Величество, а давайте из всех выздоровевших раненых, что через Ваш лазарет прошли, особый гвардейский батальон составим, для Вашей охраны. Ежели что, говорю, всех сметем, никто не подступится! Она смеется, зачем же, говорит, инвалидам в охрану? А я говорю: каждый инвалид, из сего лазарета вышедший, трех лейбгвардейцев стоит. Эх... чего ж теперь... И вся Она... Эх, словеса наши тусклые!.. Ни одной эдакой «фразы», ни одной «позы», никогда о Себе – только обязанности, только долг перед Царем, перед Наследником-сыном... А какого будущего Царя лишили! Наследник часто приезжал, больше всего про войну расспрашивал, да и сам уж – полной цены военный, арторудие не хуже меня знает. И... эх, и во всем облике Его – нездешность какая-то, не от мира сего. Наверное, от тех болей, что переносил; Он рассказывал, как Григорий Ефимыч его молитвами лечил. И печаль в сем отроке особая, и радость особая... а иной раз как глянет – ух! Царь! В 12 лет уже – Царь! Теперь вот вместо Него – таврические, кость бы им в глотку, а больше всего нам. Я ж при Дворце остался, истопником, а когда Семью Царскую арестованными объявили – не остался, потому как тоже бы считался арестованным. Потом, было, дернулся, а – поздно. Вот тебе и гвардеец-инвалид. Зачислили меня в помощники садовника в парке. Этот генерал с козлячей бородкой, который Царицу арестовывать приезжал, Государь тогда еще в Ставке был, выходит из дворца. Я к нему. Ваше Высокпревосходительство, говорю, прикажите унять буянов, что расквартированы тут, это, говорю, не охранники, а бандиты: ночью спяну козочек царских, что в парке жили, перестреляли. А он и отвечает: русскому солдату все можно теперь простить, поняв его восторг по случаю падения царизма и самодержавия. Во как! Ай да генерал! Я аж окостенел от такого ответа. Таращусь на него, глазами хлопаю, вид у меня полностью дурной, а он смеется: как командующий Петроградским округом разрешаю тебе участвовать в поедании козочек, если их еще не съели... Вот так. А фамилия звучная – Корнилов. Ой, так вам за назначением к нему ведь!.. Тогда идите прямо в совдеп, к этим, командирам «восторженных», кто Приказ №1 состряпал. Надо же, из плена бежал, Царем обласкан... это получается, что он на фронте, под Царской присягой воюя, только и ждал, когда ж ему «восторгаться» придется от падения самодержавия?! М-да, сплошной восторг кругом!.. Одна выюга Пасхальная тоской воет, она-то с понятием... Уж третий день, как турнули меня «восторженные» с моего садовничества, прямо после того, как Царица всем нам пасхальные подарочки раздала: яйца фарфоровые с царским клеймом (уточнить погоду и календарь) и салфеточки «О.Т.М.А.» У меня теперь этих святынек много. А яйца – последний запас, так и сказала. Не будет больше у русских людей царских пас-

хальных подарков. Теперь «восторженные» восторги свои дарить будут. И я Ей подарок дарил, не взяла, назад отдала – пусть, говорит и это будет тебе памятью обо Мне. А вот это уж точно память так память: письмо ее с обгорелыми краями, первое Ее письмо по-русски Ее будущему Супругу. Как вспомню те дни... и вроде час назад было, а... и будто сто лет прошло. Отречение уже свершилось, а Царица не знала, и никто не знал, а на дворец толпа прет «восторженных», тыщ триста. Вы-то там, на позициях, «повосторгались»?

– Да иди ты!..

– Понятно. Уж простите, Ваше Высокоблагородие. Не знаю, как у вас там на позициях, а у нас погода ох и хлёткая была! Ледяная крупа с туч сыпала, сугроб за 10 минут вырос-тал. Ну, я, ясное дело, истопнические обязанности дворнику-приятелю поручил и к защитникам дворца присоединился, к Сводно-пехотному полку, там еще казаки конвоя были и Гвардейский экипаж. А грохот пальбы из Питера – будто на передовой, а стужа – в январе такой не было, март, так его... проклятый месяц, хотя чего уж... Я при пушечке устроился, пушечку тяжелую привезли в сад, хотя – как ее использовать? Она ж только по дальним целям. Царица к нам вышла, еще раз имел счастье к ручке приложиться. Эх!.. Известий от Царя нет, дети больны, уже известно, что таврические взбунтовались, толпа прет, а Она вышла к нам Царицей обод-ряющей! Меха на Ней!.. Ну, действительно – *Величество*. Эх, кость всем нам в глотку! Меня узнала, чуть улыбнулась: «Инвалидная гвардия» начала быть?..

Эх, ночь была! Чуть не околел от мороза около пушки, козлом пропрыгал. Утром вижу – боевых действий не намечается, думаю: сосну часок, на топчан свой упал и почти сутки про-спал, проснулся – а уже царство «восторженных» во главе с таврическими – Гвардейский эки-паж смылся, конвоя не видать, Сводный полк целиком Думе подчинился. Какой-то хмырь таврический приезжал, пока я спал, и уговорил офицеров полка, что теперь командир их не Царь, а – таврические... еще до отречения! Похоже, русского офицера теперь на все можно уломать. Генерал их, Ремп его фамилия, вроде против был, но его никто не спрашивал, спасибо, что не убили. Вижу у них смену караула, и сменные орут друг другу: «Поздравляем новоиспе-ченных граждан свободной страны!» Я, токо глаза продравши, ничего не понимаю. Это кого ж тут и в какой печке испекли за сутки, куда, думаю, разводящий смотрит на такую неуставную смену, и об какой вообще стране речь? Оказалось, об нашей, об России... Что в ней у солдат свободы убивать своих офицеров не было, это точно. Ну я, глаза-то продравши, спрашиваю у караульных: «Эй, громодяне, во что ж и из чего ж вас испекли и об чем такая радость свобод-ная, что смена караула Сводного полка Его Императорского Величества вот эдак происходит, и, вообще, где моя пушка (а ее уже уволокли), куда ее прокараулили?» – «Пушка тебе, – радостно отвечают «новоиспеченные граждане», – больше не нужна, потому как нет больше Император-ского Величества, нет больше над свободной Россией Царя – отрекся. А морды такие у «ново-испеченных граждан», бывших солдат Его Императорского Величества, которого больше нет, будто им три лишних нежданных стопки налили вместо одной обещанной. А я как услышал... помните, как мы Перемышль брали и на нежданную контратаку нарвались, и артиллерия их тяжелая по нас – прицельно.. а нам и по дальним целям стрелять, и от атакующих винтовками отбиваться... Ну, и когда кончилась вся эта огненная жуть, отгрохотало, сел я, помню, на край воронки, ногами вниз, у опрокинутого нашего орудия, сижу – выдохся, ни-ка-кой, пустее бара-бана, а в пустоте – тоска одна, ничего не хочется, ничего не может... Ну, в общем...

– Прострация, – мрачно подсказал полковник.

– Вот так, да? Ну, значит так...

– Да я ж рядом с тобой сидел.

– Ну вот, как грохнули мне «новоиспеченные восторженные» весточку-сообщеньице, ну я... В общем, чуть «кондратий» меня не хватил, стал я раз в десять хуже, чем на той воронке сидючи. И взял я, да и пошел наверх, в покои Царицыны, дерзнуло вдруг во мне, сам не знаю... И прямо из лилового кабинета выходит Она, эх... Царица!... Никакое отречение не совлечет

ни с Нее, ни с Царя их царскости... Я бухнулся на колени: «Жив, – спрашиваю, – Государь?» А у нее в глазах и слезы, и радость – радость, что жив, и вижу вся Она – там, где Он сейчас, вся Она – с Ним и – плевать Ей на власть, не видит Она «восторженных», одно Ей нужно, чтоб Он скорей бы рядом с Ней оказался... «Бедный! Он совсем один там... Боже, сколько Он пережил! И меня нет рядом, чтоб Его утешить» – вот, что я услышал. «Государыня, – я к ней на коленях подполз и в подол платья ткнулся, – прикажи!.. Я сейчас среди солдат Сводного полка твоего клич кликну!.. Ну не все ж они сволочи!.. Прорвемся к Нему, всех разметаем, к Тебе привезем, все на колени встанем, умолим, вернем Его на трон! Эх, вот бы тут мою „инвалидную гвардию“ несостоящуюся!» А она улыбается сквозь слезы... а и слезы-то у Нее – *царские*... и говорит: «Спасибо за верность, не надо клича, и инвалидной твоей гвардии нет, и да будет во всем воля Божья». Эх, времена!.. Когда тебе только плохо от отречения, это, оказывается уже – верность. А верности моей – «тьфу» цена, не остался ж с ними, когда арест объявили, генерала этого козлобородова не припорол на месте, как должно бы верному...

А в тот же час сподобился видеть и слышать двух верных: один мальчик совсем, Сережей звать, корнет конного Крымского Ее Величества полка, на груди Георгий четвертый как у меня, ранен, как дошел-то, едва стоять может, пробрался сквозь толпы-своры «восторженных», чтоб только увидеть Государыню и уведомить Ее в своей преданности. С него хотели сорвать погоны с Ее инициалами – не дал: вручила, говорит их мне Она и только Она лишить может. Умолял разрешить остаться при Ней, хоть даже посуду мыть... а снизу слышится матершина, пение и смех «восторженных» из Сводного Его Величества полка... Эх, думаю, лучше Царице посуду мыть, чем в этой своре числиться. Ну, Государыня его в сторону отводит: «Сначала, – говорит, – отлежитесь, и Я вам дам поручение». А мне велит подойти к телефону и позвонить коменданту Зимнего дворца, узнать, как у них там, и сказать, что Она молится за них, мысленно с ними, и, ежели что, попытается им помочь. Эх, думаю, да как помочь-то? Этих Сводных теперь и за водкой-то посылать накладно. Звоню; трубку снимает сам комендант, князь Ратиев, представляется (это и есть второй верный), велит благодарить Ее Величество, говорит: «Пока живы, но толпы пьяной солдатни, штатских и полуштатских уже во Дворце...» Затем замолк. Я в трубку дую, кричу, затем опять слышу его. Какой голос!.. спокойный, ровный, ко всему готовый... «Передай, – говорит, – Ее Величеству мои заверения в верности и преданности, другой возможности мне уже не представится, мы будем стоять насмерть, но силы не равны и... Да, толпа ломает двери этого помещения, прощайте, полагаю, сейчас меня убьют». И тут в трубке так треснуло, будто из пушки моей выстрел, и – все... Не успела Государыня к телефону...

Глава 5

...Отпросился я через пару дней в Питер, задумку заимел: ладно, думаю, нет инвалидной гвардейской команды, но Волынцы-то гвардейцы есть! В запасном батальоне Волынского полка, что в Питере стоял, у меня целый ворох знакомых, а главный знакомый – командир учебной части, капитан Лашкевич, из москвичей. Эх, дуралей... это я про себя... подхожу, а над штабом ихним – красная тряпка полощется, и все снуют с бантами красными. А я-то думал подвигнуть капитана Лашкевича двинуть свою команду в Царское, ко дворцу, Царицу защищать – все одно – запасные они, какая разница, где стоять, а тут – дело, да какое. Ну, а этих Сводных, ежели что, просто вышвырнем, все на себя возьму, сузилось нынче время... Хожу и думаю: неужто и Лашкевич скурвился, окраснобантился? Смотрю, передо мной тоже знакомый, еще неделю назад унтером был, а теперь – погоны прапора на нем, а, главное, Георгий четвертый, как у меня. Эге, думаю, где ж ты успел, запасником в Питере квартируясь, фронтового Георгия заработать? Ну, это ладно, родитель учил меня не глядеть на чужие награды и в чужие карманы. Э, говорю, Кирпич (Кирпичников его фамилия), где Лашкевич? Дело у меня к нему и ко всем вам, царским гвардейцам. А тот эдак, волком на меня глядит и цедит, что нет никаких царских гвардейцев, мы уж неделю как, еще до отречения, присоединились к восставшему народу. Так и сказал! А Лашкевича твоего (моего, то бишь) я сам лично пристрелил, и батальон на улицу вывел в объятия революции, и за это вот сам Лавр Георгиевич Корнилов мне Георгия вручил!.. Ну, тут меня зашатало слегка, не так, как когда об отречении услышал, мужик я все-таки тертый-трепанный, но... Царскую награду гвардейцу за убийство своего, Царем ставленного, начальника?! Да какую награду! Ну, отшатался я, и перед тем как уйти, сказал ему, что не потерпит Георгий наш Победоносец на груди у тебя быть, будет тебе от него... задушат тебя те объятия... Кто такой Лавр Георгиевич я тогда не знал, мимо уха пропустил и тут же забыл. Ему тоже еще обнимутся те объятия. А то, что тело Григория Ефимыча из могилы вынули и в Питере сожгли, могло это быть без ведома командующего округа? А уж что во дворце сейчас!.. Вместо Сводных, таких гадов-ох-ра-ни-телей прислал, что Сводные ангелочками помнятся. Сводные, как только «новоиспеклись», начали пить, материться и песни горланить, солдатами быть перестали, но людьми, хоть на чуть-чуть оставались, прямого хамства к Семье не допускали. Ну, а Корниловым присланные – те уже доиспеченные до нелюдей, до «полного восторга»... Увезти бы сейчас куда подальше Семью Царскую от этих «восторженных», да ведь не поедут. Сам слышал, как Царица подруге своей говорила, что будет поломойкой, но из России – никуда! Слышал, потому как камин прочищал в Царицыных покоях, это уж потом было, Государь уже приехал, когда под арестом они были. Тогда и окончательный приговор всем нам услышал, уже из самих Царских уст: «Если вся Россия встанет передо Мной на колени, Я не вернусь на престол». Вот так... Ну, вот, а Государыню до ареста (арестовать Ее они чуть потом удумали) отправить хотели по железке для встречи с Царем, чтоб они встретились где-то вне Царского и Питера. А Великие княжны и Наследник больны были – корь, в лежку лежали. Государыня мечется меж ними, уже вслух молится, а тут этот нагрязнул, главный таврический, с хохляцкой фамилией...

– Родзянко.

– Может быть, не запоминал... пузо как у бабы беременной, морда масляная, глазки, как у хорька в курятнике... нагрязнул и велел... о! Императрице – велел!.. начать собираться в дорогу. Та ему: «Но мои дочери... мои дети... они больны, врачи говорят, что дорога сейчас для них станет роковой...» И, представляете, что этот хорек толстобрюхий ответил? Я внизу у лестницы стоял, все слышал... «Когда, – говорит, – дом горит, лучше его покинуть. А решение Думы про Вас – неизменно» Ну, отрычал он это, спускается, а у меня все перемкнуло, иду ему навстречу, у меня, видать, морда тоже сделалась *та* еще. Слышу как сквозь вату, Ее воз-

глас: «Гвардеец, остановись!» Эх, гвардеец... Остановился. Этот от меня в сторону и – кубарем в дверь, аж Сводные смеялись, а Царица пальчиком мне погрозила. А я до сих пор жалею, что не придушил его... А этот про меня даже среди таврических вопрос поставил, во удостоился я!.. За что потом и турнули меня на Светлую. А вопрос поставил вот как: «Убрать из дворца весь обслуживающий персонал, монархически настроенный», – что этот козлобородый генерал «восторженный» с покорностью и удовольствием и сделал. Все он для таврических с покорностью и удовольствием делал... Я уж потом узнал, сам наводящий корректировщик с колокольни, мой знакомый, и рассказывал. В ту ночь, когда я сначала у пушки своей прыгал, а потом дрых как убитый, а таврический уговариватель, посланник этого хорька толстобрюхого, офицеров Сводного уговаривал на присягу плюнуть и к таврическим присоединиться. Два тяжелых орудия на изготовке стояли, уже на дворец наведенные, а мой знакомый на колокольне Феодоровского собора с биноклем и телефоном сидел для корректировки – оттуда наш Александровский дворец как на ладони. И приказ у орудийной команды: ежели от офицеров Сводного отлуп, ежели не уговорит уговаривающий, посланничек хорьковый – немедленный огонь по дворцу! Чей приказ, спрашиваю, совдепа? Какой там... Из штаба округа, за личной подписью командующего. Вот так!.. По Царице с больными детьми, по Царскому дворцу, с корректировкой с царского храма – огонь из тяжелых!.. Бескровная, мать ее!.. Не зря и пушечку мою, как задрых я, уволокли – чуяли... я б уж тогда тоже успел огрызнуться и корректировщика бы нашел! Сполна б получил таврический, на куски б не разнес, но всем, кто б остался там в живых после огрызания моего, запомнилось... И как же ты посмел, спрашиваю своего знакомого, с таким приказом на Феодоровскую колокольню лезть?! Если б сделали вы это, что б с тобой чудотворная Феодоровская б сделала, покровительница Дома Романовых?! А?! Ну, тот еще не совсем «восторженный», смущается, руками разводит, морда виноватая: ну а что, мол, я-то?.. мне-то ведь – приказ. Эх...

А в воскресенье, за три дня до приезда Государя, устроила Царица во дворце молебен с крестным ходом. И я сподобился, и меня взяла. Я икону мученицы Татианы нес. Знаменская чудотворная Божья Матерь впереди... а глаза у Нее, ну точь-в-точь, как у Государыни нашей... и повторяю это где угодно, перед каким угодно хоть архиереем, хоть иереем. В здравом уме я был, в трезвой памяти, и ни в какой не в прелести. Аж страшно стало! Весь дворец прошли, а я и не увидел его, хотя все это время мечтал об этом. Весь как бы... ну, в себе был, внутри. И не думал, и не знал до того, что бывает так: идем, поем, а во мне, кроме пения, ничего нет; слушаю его, а перед собой – взгляд иконы Знаменской, Глаза у Которой точь-в-точь, как у Государыни нашей... В комнату к Царевичу внесли Ее. Глянул я на него, лежал он, вижу – не жилец он в этом мире. Так вот подумалось... Глядит он на икону, на Мать, на батюшку, святой водой его кропящего, на всех нас вошедших, пытается улыбнуться, а – улыбка не выходит... все болит... О том, что уже Царства нет и Царем ему не быть – знает. Взгляд взрослый, тихий такой. Глядишь на него, душа и на куски рвется от жалости к нему, и одновременно, мир и тишину в себя от его тихости принимает. Эх, всю б боль его на себя взял! А поглядел внимательнее... нет, вижу, чтоб *всю* его боль взять, отрока-Царевича двенадцати лет не хватит меня, я, здоровенный мужик тридцатилетний, жидок для сего...

Ну, а через день я дворнику – приятелю должок отдавал, за него во дворе дворничал, ибо он, мужик не злой, с деревенским застрявшим понятием, от вида «восторженности-новоиспеченности» – в запой ушел. Обещал быстро выйти, но с выходом задержался. И вот, дворничая, вижу я, что вдруг из каминной трубы дымище повалил, будто из трубы крейсера. И – пепел. Столько пепла, будто от вулкана! А пепел белый такой, мелкий... Ну, я знал, что камин этот в Красной гостиной стоит: где какая печка или камин, я по должности знал. Вижу, мимо знакомая моя, Царицына камеристка бежит, вся в слезах. Чего это такое, спрашиваю, у вас там, не пожар ли? А она мне сквозь слезы: Государыня, говорит, письма жжет, что за всю их совместную жизнь с Государем они друг другу написали. А писем этих!.. Жжет и рыдает. Ну

и мы, говорит, глядим на Нее – и туда же, пол в гостиной весь уже мокрый от слез. А мне, услышав это, захотелось как дворнику в запой уйти и не выходить из него – единственное, что мы, русские мужики, можем... да еще кота дворницкого, ни за что, ни про что метлой огреть от злости на самого себя.

Пепелок я стал отдельно сметать в чистое ведро, а потом под куст сирени, что прямо под Государевым кабинетом растет. Этот кустик, мне садовник говорил, любимый у Государыни. Думаю, этот пепелок особый – ведь вся ихняя любовь друг к другу в пепелке этом осталась, кусту сиреневому в укрепление... Я и себе в коробочку, для памяти, пепелок этот собрал. А к вечеру, вижу, уже кусочки бумаг обожженные вместе с пепелком вылетают, не успевают, знать, камин письма поглощать – будто метель, как вот сейчас, только не из снега, а из пепла и бумаг обожженных... И тут и вылетело письмо это... целиком целое, с краями обожженными... Эх, и не отойти – вдруг еще письма полетят! И не вернуть – через «новоиспеченных» прорываться надо. И взмолился я, чтоб не вылетали больше письма, чтоб справлялся камин, чтоб грязные лапы «восторженных» не касались любви особ царственных. И не вылетело больше. А то письмо я прочел. И тут не удержался, слез не удержал... Только и можем мы, русские мужики, что метлой на котов махать, допустить, чтоб Царица наша память о любви своей сжигала, да слезу пускать, когда надо метлу бросить, да пушку свою у «восторженных» отнять... Это письмо я и отдал Ей, когда Она мне яичко фарфоровое вручала, другого случая не представилось бы. А Она мне его назад вернула. Тут я и попросил Ее: «Благословите в монахи, Ваше Величество, очень захотел я, чтоб хоть шептать научиться то, что с губ Ваших не сходит». А сам еще и думаю, чтоб глядеть на икону и глаза Твои видеть. Коли, думаю, есть что неправильное в желании моем таком, вразумит Царица Небесная. А Она, земная моя Царица, даже и растерялась: «Разве мне, – говорит, – в монахи благословлять?» – «Тебе, – говорю, – Государыня, только Тебе; благослови и перекрести!» Что Она и сделала, пожелала помощи всех сил небесных, и еще, говорит, сейчас тебе благословеньице дам, образок, чтоб на теле носить, Могилёвской Божьей Матери – чудотворицы, списочек на дощечке дюйм на дюйм, а Сама Она в храме Братского Богоявленского монастыря пребывает. И Я, говорит, и Государь, все это время перед этим навалившимся ужасом к Ней особое почтение займали. И вообще, говорит, вся главная часть нашей жизни с Могилёвом связана. Вынимает Она из футлярчика иконочку с цепочкой серебряной... а иконочка вся закопчена белой копотью. Дивная копоть, под стать белому пеплу. Один Лик Божией Матери виден, все остальное закопчено, да и Лик сам будто сквозь туман смотрит, очень напрячь глаза надо, чтобы четок и устойчив стал вид его, Сама Божья Мать будто и говорит с Лика, безмолвно: а ты напрягись, напрягись, не ленись, греха своего убоись... Оказывается, образок этот, пока Государыня письма жгла, на Ней поверх платья висел, а копоть всюю из камин в гостиную летела и за двое суток сожжения вот эдак легла на образок... не попевала каминная тяга. Царица головой качает: «Сейчас, – говорит, – протру», а я Ей: «Не надо, Ваше Величество, не копотью образок закопчен, а любовью вашей семейной опылен, оставим как есть!» Приник я в последний раз к Царицыной ручке, едва оторвался – и расстались мы. Теперь уж точно знаю, навсегда. С кем и с чем прощаемся мы – все навсегда...

Глава 6

– Однако, ты, рядовой Иван Хлопов, пророка из себя не корчь, – сказал полковник, улыбаясь, улыбка вышла для самого себя неожиданно. – Ты хоть и в монахи, а – мало ли... свидимся, Бог даст.

– Да не корчу я из себя ничего, – со вздохом ответил тот. – Все уж во мне скорчилось, перекорчилось...

– А знаешь ли ты, рядовой Иван Хлопов, что у меня такой же как у тебя пепел есть, из таких же писем? Только он не от рук Царицы, а от рук Ее врагов. Погляди-ка...

– Не-е-е-т! Не открывайте, выдает! – и, разглядывая шкатулку в руках Свеженцева, будущий монах приблизил свое лицо к лицу полковника и задумчиво произнес: – Вот, значит, как!..

Он сунул руку за пазуху и вынул оттуда небольшой сверточек.

– Вот что я решил... – продолжал он так же задумчиво, и как-то даже загадочно глядя в глаза Свеженцеву. – Все, что в свертке, теперь ваше. Здесь и пепел, и письмо, и образок Могилёвской, вам все это нужней будет.

– Э-э, погоди! Да разве царские подарки передаривают? *Память* царскую обижаешь, узнала б Царица – обиделась.

– Нет, обрадовалась бы. Вам ведь, поди, строя-боя все одно не миновать, все одно воевать, не ясно теперь, правда, с кем... В бою они, – Хлопов кивнул на сверток, – нужнее, чем в монашеской келье. Ежели чего... где бой правый, а где неправый, эти святыньки сердцу подскажут. К стыду своему, не знаю, а спросить не успел, как он вообще выглядит, первообраз Могилёвской, что за история у него, какие чудеса... сам-то я ни разу там не был.

– Я тоже. Чего нам с тобой в Ставке делать было?

– Зато теперь до нее другие добрались. Эх... Ну, давайте прощайтесь, пойду я. Сначала в Москву, к родителю, напоследок хлоповских наших дынек поем, а там уж, как Бог даст... А и то, вдруг свидимся?

– Да уж... больше не пророчествуй насчет «навсегда».

– А это что ж, весь ваш скарб при вас? – Хлопов кивнул на сумку с длинным ремнем, в которую полковник укладывал шкатулку и сверток.

– Так откуда ж еще чему взяться? Биноколь, да смена белья, да вот, подарки теперь.

– Значит, дубинокль исторический с собой?

– Почему «дубинокль»? И почему исторический?

– Ну, как же? Вся наша батарея его так называла. Нешто, как отбивались тогда, у Перемышля, забыли?

– Чего болтаешь! Как это забыть можно...

Забыть тот бой можно только, когда памяти не станет, это значит – когда умрешь, да и то... за тебя, быть может, тогда вспомнят, может на мытарствах – лишний довесок в твою пользу, ибо бой тот правый – за Веру, Царя и Отечество. Во время нашего наступления, в затишии, расслабились и тут и нагрянули тефтоны, будто из под земли, внезапно и грамотно, они это умеют и ни где-нибудь, а у самого полкового штаба, цель: штаб и штабных уничтожить и орудия руками испортить, потому как артиллерией дальнобойной не получалось достать. Личное оружие полковника, «Парабеллум 08» – лучший пистолет всех времен и народов, гордость германского гения, отказался стрелять в земляков, сразу осечку дал, пришлось отбросить его (правда потом, русского отморозка в вагоне пристрелил исправно), зато бинокль «Карл Цейс», за ремень полковничьей рукой держанный, крушил наотмашь землячьи головы в касках, действительно, хлестче дубины. Отмахались, отбились, отстрелялись, штаб и орудия отстояли, а нагрянувшие отступили с большими потерями. Думал полковник: все, биноклю конец, выбрасывать надо, все-таки, ежели в атаку или отбиваться – лучше «парабеллум»,

два раза тефтонский гений осечки дать не может, но... Оказалось, что цейсовские инженеры и рабочие и есть самые гениальные: бинокль ничуть не потерял уникальных своих оптических свойств, которые очень отчетливо давали нужную визуальную информацию о позициях земляков, по которым метко затем били русские тяжелые орудия полка РТК, под командованием Свеженцева.

– Ну, что «дубинокль» – понятно, – усмехаясь сказал полковник. – Хм, а я и не знал. Но почему исторический?

– Да ну как же, Ваше Высокоблагородие!.. Мы ж не только за тот бой, все, кто цел остался, по Георгию получили, мы ж, как особо отличившиеся, в Приказ Верховного Главнокомандующего Его Императорского Величества попали. А это уже – *История*. И, ежели б не бинокль ваш, эх... Когда этот, с ручным пулеметом возник, секунда – и всех бы изрешетил! А тут ему – биноклем в лоб. Когда возник он, первая молитва из меня за много лет сама собой выскочила...

– А я матерился только, пока махался, – вздохнул полковник.

– Пулеметиком тем трофейным, я все-таки грамотно воспользовался, а?

– Да ты все и решил...

– Не-ет, без «дубинокля» и пулеметика б не было. А вообще-то, ведь проворонили тогда, заснули ж часовые, не тем будь помянуты, Царство им Небесное, убиенным. Грамотные были диверсанты... А мы-то... Я в это время спирт разливал, который для протирки оптики выписан.

– Я делал то же самое. Оптика «Карл Цейсс Йена» в протирке не нуждается.

И тут оба однополчанина рассмеялись.

– Ну, а теперь все-таки пойду, – сказал рядовой.

– Давай, – сказал полковник. – А может, это... «протрем оптику»? У меня есть. В белье завернута, чтоб не разбиться.

– Нет, Ваше Высокоблагородие. Не обессудьте, и без обид. Отпротираюсь я. Уж простите.

– Ну, давай тогда что ли по-нашему – и похристосуемся и простимся.

Полковник и рядовой обняли друг друга, троекратно поцеловались, хлопнули друг друга по плечу и рядовой растворился в метели.

Полковник Свеженцев еще стоял в раздумьи, вспоминая сегодняшние события, как вдруг услышал справа от себя истошные вопли:

– Стой, гад!.. не уйдешь!.. – а далее стрельба и те же вопли вкупе с матерщиной.

Он, не раздумывая, выхватывая на ходу свой «парабеллум 08», кинулся в метель на вопли и стрельбу. Через несколько мгновений пред ним предстала такая картина: тот, кого преследовали, кому кричали и в кого стреляли – усатый парень, лет тридцати в длинном черном пальто, без шапки – прижимался к стене (бежать некуда) и жалобно, нечленораздельно и бессвязно воя-взывая к преследователям, сползал по стене на колени, наконец, сполз и головой уткнулся в снег, продолжая выть-взывать. Четверо преследователей, злорадно матерясь, приближались к жертве. У двоих по винтовке, у других тоже что-то было, но из-за метели не разберешь.

– Стоять! – крикнул полковник. – Стоять и не поворачиваться. Стреляю без предупреждения! Что происходит?

– Городовой! – прокричал крайний слева из четырех и таки обернулся, невзирая на угрозу. – Переоделся, гад! Я узнал его, – обернувшийся разглядел фигуру с парабеллумом. – Господин полковник, царский городовой!

«Бешеная собака» – так прозвучало выкрикнутое «царский городовой». На полковника глядело лицо, как две капли похожее на то, страхом искаженное, лицо «старшего брата», напарника убийцы его отца, который ползал перед ним тогда, в пятом, и выль-взывал: «Пощадите, православные...» А может, тот самый? Подросший, злобой созревший? Нет, – полковник поднял приопущенный, было, парабеллум, – молодой слишком, духовный последыш, «старший брат» для нынешних гимназистов, таких, как он тогда, над убитым отцом плачущий. Только

эти нынешние, они не будут плакать над убитыми отцами и гнаться за убийцами отцов, они будут своих отцов – убивать...

– Прекратить самосуд! – полковник Свеженцев не узнал своего голоса, столько ярости в нем прозвучало. – Стволы на землю и всем разбежаться!

Тут и остальные трое обернулись.

«Эх ты, вот так оборот!..»

Они были уверены, что все полковники давно переметнулись, «новоиспеклись» в «восторженных», а те, кто не «новоиспеклись»... с тех, в лучшем для них случае, погоны посрывали. А этот? Не переметнувшийся и в погонах?! Да еще голос подает?!

И тут полковника прорвало:

– Я сказал: стволы на пол! Крысы тыловые, сволочь запасная! – И он скорым шагом пошел на них, наводя парабеллум на крайнего четвертого. Но тот выстрелил первым. Мимо. Тут же выстрелил полковник. Тоже мимо. Мало того, его пуля ухнула в стену над распростертой жертвой, отчего тот распростерся еще больше и еще больше завыл-завывал. Полковник же, не помня себя, уже бежал на всех разом. Тут и те побежали, согласно приказу, сбросив стволы на землю. Кроме четвертого. Отбежав, он остановился, обернулся и, двумя руками держа пистолет, стал целиться в полковника. Как говорил «восторженный» и смешливый товарищ Машбиц: на вскидку пошел, кто вперед...

Но первым оказался булыжник, вылетевший из метельного кругодвижения и точно врезавшийся в голову четвертого. Тот, роняя пистолет, беззвучно грохнулся на снег. Вслед за булыжником и почти с той же скоростью из метели вылетел будущий монах, рядовой Иван Хлопов. Вернув ударами ноги назад четвертого, который начал, было, подниматься, он поднял пистолет.

– Эх, еще вам подарок, Ваше Высокоблагородие. Маузер! Оч-чень серьезная вещь. Всегда мечтал, – он подошел к полковнику, стоявшему над распростертым.

Полковник обнял его за плечо и прижал к себе:

– Ты как всегда, вовремя...

– Так, иду, думаю о возвышенном, погоду ругаю, и вдруг – пальба матерная. После дворца я к этому сочетанию оч-чень неравнодушен.

– Ну, а эту серьезную вещь себе возьми, раз давно мечтал. Мне такой агрегат девать некуда, да и ни к чему, парабеллума хватит. А до Москвы твоя дорога нынче, ой, непредсказуема...

– Мечтал... именно, что давно. А патрулю в поезде чего мямлить? Откуда? Шел-нашел? А уж «восторженным-то»? Или документ на него предъявляй, или отстреливайся. Я уж лучше булыжником. Вроде, получается.

– Это точно, – рассмеялся полковник и тронул за плечо распростертого: – Эй, служивый, поднимайся, – затем опять обратился к Хлопову: – А что, отец-пророк, как насчет «навсегда» о нашем расставании?

Оба рассмеялись.

– Да уж, – сказал Хлопов, – коли эдак придется отвлекаться, так и до Царского-то, уж не то что до Москвы, к лету не доедешь.

Меж тем, «служивый», отвечая на постукивание по плечу, оставаясь на коленях, поднял голову, опираясь на руки, и в этом положении, именующимся «на карачках», замер. Вид двух смеющихся военных с слегка приподнятыми маузером и парабеллумом поверг его в совершенно зверский ужас. Он простер руки к смеющимся и, стоя, по-прежнему, на коленях, завопил:

– Помилосердствуйте, прав... товарищи! Не убивайте, я ж – ваш! Ошибка! – и пополз на коленях к остолбеневшим военным, которые враз прекратили смеяться. – Я против царского режима!.. хоть и городской. Я вашим помогал.

– А восторг по случаю падения Самодержавия испытываешь? – тихо и зловеще спросил Хлопов и приподнял маузер.

– Испытываю, испытываю!.. – повергнутый перестал ползти и сжался.

– Перестань, – сказал полковник Хлопову и положил руку на маузер.

Но полковничья рука была резко отброшена рукой рядового, а маузер еще чуть-чуть приподнялся.

– И как же ты нн-а-шим, твою мать... помогал?!

– А я... это... я... я помогал! Я...

Стало ясно, что врет поверженный. Никому из тех, ныне «восторженных», а еще недавно затаившихся, он не помогал, а что и как соврать – на ум сейчас не приходит и не может прийти из-за полной парализации того, что называется умом, и столь же полной невменяемости воли и чувств.

Поняв это, Хлопов стал остывать, и когда вновь полковничья рука легла на маузер, она уже не была отброшена и маузер опустился.

Полковник глядел на поверженного, начавшего приходить в себя, и уже понявшего, что убивать его эти двое не будут,.. и испытывал неведомое ранее для себя сплетение отчаянно сильных чувств: брезгливое отвращение до рвоты, рвущую на части жалость до рыдания и страшную тоску до воя. Не привиделось ли, не сон ли – вот это явление-виденье, то, что сейчас произошло? Но долго терпеть это сплетенье в своем сознании было совершенно невозможно – сам в такое вот воюще-ползающее превратишься... За всю свою жизнь, а три года на войне, он не то что не видел, а и не предполагал возможности пребывания человека в таком состоянии. Опора трона – городской! «Эх...» – как бы сказал рядовой Хлопов. А что еще скажешь? Оно – да, сам про себя не знаешь, как поведешь, когда за тобой гонятся, а потом к стенке припирают под стволы. Довесок тоски и об этом: неужто и я так заползаю? Знал, что отец его, тоже городской, никогда и не перед кем не встал бы на колени, кроме как перед Царем, и никто из тех бы и не ставил его на колени, с ним совладать можно было... только сзади железной трубой. И еще твердо знал, что его отец никогда не пережил бы Трона и был бы свергнут вместе с Ним, как Его, насмерть, защитник... А ты? Когда «дубиноклем» отмахиваешься и о смерти и полмысли нет, а мысль только о том, как отмахаться и победить – это одно, а у стенки под стволами стоять, а тебе говорят: ползи и жив будешь, а? А если пытки подключить? Ему всегда казалось, что боли он не боится, хотя... Один только раз испытал настоящую боль – ранение легкое, а боль кошмарная, пока пулю из мышцы не извлекли, болело так, что орал, не стесняясь. Но орал среди своих, зная, что тебя любят и лечат. А если?.. «Не знаю» – проскрежетало среди сцепления сильных чувств, которое уже продвигалось к границе непереносимости.

Поверженный глядел в глаза полковнику, приход его в себя от этого резко ускорился, и вот, он уже понимает, что происходит и кто перед ним. И тут он обмяк, руки его упали к коленям и он тихо заплакал.

– Вставай и уходи, они вернуться могут. И не шастай там, где тебя узнают, – полковник это произнес таким голосом, что рядовой Хлопов оторвал свой злой взгляд от поверженного и уже испуганно перевел его на полковника.

Спасенный городской, не переставая плакать, поднялся и исчез в метельном пасхальном кружении.

После недолгого молчания полковник сказал, кивая на брошенное оружие:

– А давай-ка, все вот это и мечту твою – в Неву. Сдать-то это некому, и если эти не вернуться, то другая нечисть подберет.

– Слушаюсь, Ваше Высокоблагородие, – весело отвечал рядовой Хлопов.

И когда дело было сделано, из-за кирпичной стены, за которой исчез бывший городской, под визгливо скрипящий звук явно битой перебитой гармошки вывалилась орава веселой пьяной матросни в обнимку с визгливо скрипящими бабами. Впереди оравы, паясничая и при-

плясывая, куролесил гармошкой солист и горлопанил он сильней, чем вся орава вместе взятая. Песня звучала всему миру известным русским матросским «яблочком»:

«Э-е-х-х, Пасха, гу-гу, Пасха кр-рас-сная,

Эх, маруха ты моя, р-распрекр-рас-сная!» —

и далее шла уже совсем непотребная похабщина, что вызвало неопиcуемый восторг и хохот всей ватаги.

Когда развеселая публика скрылась за снежной завесой, рядовой Хлопов произнес со вздохом:

– Эх, жаль мечту мою в Неву кинули. На всех бы их хватило, там магазин емкий.

С таким же вздохом полковник ответил:

– Сам говорил, что на всех не хватит. Слушай, а зачем они пулеметными лентами от «Максима» обвешиваются?

– Это, Ваше Высокоблагородие, велика тайна есть: себе, ведь, в тяжесть, другим в насмешку, а – таскают! Может это у них как талисман или документ? Лентой обвешался – свой.

И там, за метельным выюжевом, куда скрылась орава и откуда неслись утихающие визгиливо скрипящие звуки гармошки и выклики народного хора восторженных, почудилась полковнику долговязая полукурчавая фигура в полуштатском с тоску наводящими томными глазами. Призакрыв глаза, фигура *слу-у-ушает прекрасную музыку революции* в исполнении народных хористов с созревшей злобой, которую, наконец, дождались...

Глава 7

– А знаете что, Ваше Высоко...

– Да хватит тебе! Ты мне больше не солдат, я тебе не командир, и, раз так, то я тебе теперь просто Иван – я ведь тоже Иван. Тем более, что ты постарше меня, а происхождение у нас с тобой одинаковое, оба не дворяне.

– Ну тогда... да я вот о чем, Иван, а давай, все-таки, на расставание...

– Навсегда?

Оба рассмеялись.

– Как Бог даст. Давай все-таки «протрем оптику», а? А то без протирания сего... очень уж хочется, чтоб ослепла она, чтоб не видать ничего этого. Жаль, заесть нечем. Просфорами нельзя, а у меня, кроме просфор – ничего.

– А у меня вообще ничего. Обойдемся.

Первая «протирка», под общий смех – за знакомство. Вторая – о здравии Царской Семьи. Третья – чтоб под «восторженными» земля разверзлась.

А перед четвертой полковник (хоть и Иван, а полковником-то остался) спросил угрюмо:

– Слушай, а ты пятый год помнишь?

– Да кто не младенцем тогда был, кто ж его забудет? Помню. Поучаствовал даже.

– На чьей стороне?

Едва шкалик не выпал из рук Ивана Хлопова от такого вопроса, и он удивленно уставился на «сопротиральщика».

– Чего так смотришь? А я мог быть на *той* стороне, чуть-чуть оставалось. Против бы своего отца. Он у меня городовой был. Только не таким, как этот. Убили его... На его похоронах вся Пресня была, мы – пресненские...

– А мы – москворецкие, маросейские.

– Ну, давай, что ли, за Москву нашу, матушку. Как-то там сейчас?

– Да, говорят, так же.

– Так давай, чтоб было не так же.

– Ух... нее, на протирку вот эдаким оптика «Карл Цейсс» точно не рассчитана, каску расшибет, а от протирки... ыи-к... сломается...

– Так вот, – продолжил полковник. – На панихиде по отцу священник слово сказал. Имя его забыл, а лицо на всю жизнь запомнил. Не знаю, жив ли, он уж тогда стареньким был. Монах из Николо-Перервинского монастыря. Он тогда сказал, что похороны эти – торжество Православия. Остальное не запомнил, да и слушал в пол-уха, слезы душили, все на отца смотрел... а вот это запомнил.

– А так и есть, коли всем миром в Царство Небесное провожают за Веру, Царя и Отечество убиенных, оно и есть торжество. Эх, нам бы так...

– Сзади трубой по голове?

– А чем труба хуже пули? Или меча, коим мученикам головы отрубали? Это, ежели, конечно, за Веру, Царя и Отечество. Ну, Царя больше нет, Отечество... за землю если, а за таврических – избави, Бог! Осиновый кол всем ихним защитникам... Однополчан наших жалко...

– Дождусь! Не допущу! Мои снаряды летать по Питеру будут!

– Дай-то Бог. Однако... ну, а уж ежели что, дай тебе Бог, чтоб как папашеньке твоему удостоиться, хоть и трубой. Только будет ли кому хоронить, как его? Говоришь, всей Пресней хоронили? Мы на Маросейке одного пристава всей улицей провожали на Лазаревское... его ножом зарезали, тоже сзади. Ну, а после похорон всей же улицей поминки устроили. Только не водкой, а кистенями, в общем, у кого чего было... В один день всех повылазивших поре-

шили – сами. Семеновцы подошли, а у нас уже тишина и покой, ни одной бандитской революционной морды не шастает. Кто пощады не просил – всех... Эх, а надо было и тех! Тогда пощаженные – вот они теперь...

– Мы на Пресне тоже сами и тоже после похорон.

– А теперь вон оно как. Эх... Вот я думаю: ну послушается тебя твой бывший полк, хотя ой вряд ли, ну, ладно... ну они ж революцию защищать едут. А штука в том, что защищать-то ее *не* от кого: никто на нее не нападает. Ну, приведешь ты своих бывших в чувство, и тогда тебе с твоим полком кого защищать? А? Обратно на фронт? Не-е. Вот это я тебе точно говорю, что на фронт они обратно не поедут, не для того они тебя из командиров вычеркивали, Серого убивали и эту сволочь Снычева над собой ставили. А ведь не был он сволочью до этого Приказа №1. А? Или сидела в нем гниль, да власть и присяга до поры ей выхода не давала? Все офицеры Сводного все про какое-то Учредительное собрание толковали. Что ж это за зверь такой, спрашиваю. Один эдак бантик свой огладил, ну, будто жену свою, и говорит: образ правления для России учреждать. А я говорю: а какой же может быть у России этот... образ, кроме Царского? А тогда и учреждать нечего, династия, Слава Богу, не угасла, а кто в династии ближайший – тот и Царь. А он и говорит: а может не царство будет, а эта... республика с демократией. Это что ж, спрашиваю, за бабы такие и как они «будут»? Он смеется, дураком меня назвал, говорит, не бабы, а именно и есть образа... во как!.. образа правления, и расшифровывает вторую бабу по имени де-мо-кра-тия: слово, говорит, греческое, демо, – говорит— народ, кратия – правление, правление народа, значит. Это как же, говорю, народ работать должен на благо Отечества, а не править, править должен Царь и Им назначенные. Ну, снова я «дурака» получил. А затем, когда услышал, что Царь – это, оказывается, произвол, то, говорю, вот когда был Царь, около парка люди гуляли, киоски всякие были, вон там магазин был, это, конечно – произвол, а теперь, когда произвола нет, и гуляльщикова нет, потому что ограбят – точно, спасибо, если не пристрелят, киосков нет, магазина нет – разгромлены и растащены. А таврические, говорю, способны токо на то, чтоб банты вам нацепить и уговорить вас Царя продать – на уговоры и на то, чтоб Царице электричество и телефон отключить, это они мастера. Вот, говорю, у тебя в роте как? *Твое* слово закон, или у тебя де-мо-кра-тия?» Вижу, прямо на мозоль наступил – помрачнел, бант перестал гладить. «Да я, – говорю, – вполне понимаю: был произвол, были солдаты, а теперь и в спину штыком могут, а?.. под руководством двух баб – республики с демократией. А кто ж, говорю, учреждать-то будет в этом собрании? Избранные-то кто? Уж не те ли, кто козочек царских пострелял? Голосованием? Уж они проголосуют... Представляете, – говорю, – вашблагородь, когда двести сволочей, как все ваши бывшие солдаты, ныне «новоиспеченные», проголосуют за призыв такой сволочи из таврического, что я сегодня чуть с лестницы не спустил, то какую же стерву они изберут по имени де-мо-кра-тия...» А он на меня вдруг заорал: почему без банта?! А я осерчал, страх потерял, и в ответ ему: «Да плевал я с высокой горки на твой бант, потому как тебе не подчиняюсь, а и подчинялся бы – под трибунал ваш «восторженный» пойду, а бант не надену!..» Поговорили... А вообще, смешалось все. Ближайший к трону кто? Кирилл, говорят, дядя Царский, командир Гвардейского экипажа. Эх... а экипаж его первым смылся от дворца, а сам он, слышал, на поклон пошел, еще до отречения, к этому, хорьку толстобрюхому, которого... Эх, жаль что с лестницы не спустил! Одним словом – смута... Про ту смуту, что 300 лет назад была, я много знаю, в детстве родитель всему нашему семейству по вечерам про всякое читал. Вот, говоришь, Пасхальная неделя идет, а – выюга; а тогда, в 1601 году в начале августа замерзла Москва-река.

– Да ну?! – этого полковник не знал, да и вообще он историю почти не знал; в гимназии он не историю изучал, а стишки сочинял про «городовоеенье» и «старшим братьям» внимал, а они другое вещали.

– Вот те и «да ну»! Вразумлял Господь, чуял, какой ужас на Россию идет, не вняли люди... Царя нет, Отечества нет... какое там Отечество, друг друга поедом ели, полякам и шушере всякой все ворота пооткрывали... Эта стерва де-мо-кра-тия поглумилась тогда! В храмах, в алтарях, на святом месте срамные дела творили... а все одно, вера у большинства осталась. Она и спасла. Может, и сейчас спасет? А? Давай, наливай, Иван, за веру.

– А разве пьют за веру?

– А почему нет? Да и больше не за что. Давай за укрепление ее, чтоб вызволила она нас из лап «восторженных» и чтоб они таковыми перестали быть...

«Дотерли оптику» два Ивана, обнялись и разошлись. Полковник шел и ни о чем не думал. После «протирки оптики» слегка отпустило, да и помнилось-ощущалось, что в сумке рядом с историческим «дубиноклем» лежали святыньки, пропитанные любовью Царской Семьи. Метель ослабевала. Вопрос «Что-то ждет нас?» – несколько раз вспыхивавший за день, угас и больше не возникал. Чувствовалась полная бессмыслица его из-за... неразрешимости. Ни он и никто из остальных полутора сотен миллионов не могли знать, на какую безысходную, страшную дорогу они себя вывели, в какое время ввергли. На этой дороге, в этом времени будет столько всякого, что по сравнению с этим всяким та смута будет глядеться детской шалостью, а вновь образованное слово «чекист» будет знать весь мир, и, слыша его, люди всего мира будут приходить в содрогание. Но это все потом. Пока – только первые аккорды чудо-музыки Революции...

Глава 8

Командир Собственного Его Императорского Величества железнодорожного полка, генерал-майор Цабель Сергей Александрович, находился в состоянии крайнего угнетения и растерянности. Такого он не испытывал ни разу в жизни. Ничто внешнее никогда еще не выводило его из равновесия жизни. На случившееся пять дней назад Государево отречение он не отреагировал никак. Он, как и всегда, был завален работой и занимался только ею, занимался, как и всегда, очень грамотно. Его полк являл собой образец блестящего состояния с прекрасным офицерским составом. Что должно было случиться нечто перестановочное в структуре власти, от которой он получал директивы, он предполагал и предчувствовал. Особенно предчувствие усилилось, когда он подготовил и отправил из Могилёва в Петроград поезд с батальоном Георгиевских кавалеров: 700 с лишним орлов-героев во главе с генералом Ивановым для подавления мятежа по приказу Государя. Любое соединение солдат-профессионалов, десятикратно их превосходящее, было бы ими в полдня разгромлено, а уж наводнявший Питер сброд запасников, пороха не нюхавших, не говоря о полуштатских, лентами обвешенных, разбежался бы от одного их появления.

Ничего этого не случилось. Не долетели орлы-герои, не доехали. Перед самой отправкой Цабель нечаянно оказался свидетелем разговора двух генералов: начальника штаба Ставки Алексеева и Иванова. Очень удивился, ибо Иванов со своими орлами должен был быть уже в пути, о чем, собственно, и пришел Цабель доложить Алексееву. Чего здесь делать Иванову, коли на руках прямой приказ Верховного Главнокомандующего? И застыл, услышал ответ Иванова начальнику штаба. Очень как-то мямлюще звучал ответ, что да, он *постарается* исполнить повеление Государя. Странно было слышать командиру железнодорожного полка это «постарается»: подвижной состав в идеальном порядке, пути тоже, маршрут выверен, по всему маршруту полное обеспечение по всем позициям приготовлено, никто из полуштатских, запасных, да и хоть каких и приблизиться к такому эшелону не посмеет! И как тогда понимать это мямлющее «постарается»? И вообще, он понял, что для обоих генералов его, внезапное для них, присутствие очень нежелательно, очень они хотят еще пообщаться наедине. Про себя гмыкнул, развернулся и вышел.

Генерал Николай Иудович Иванов «постарался»: сначала болтался где-то вне маршрута, затем непонятно как и непонятно почему страшный для любого противника эшелон проторчал три дня на станции Вырица, и ни до Питера, ни до Царского Села так и не добрался. На невнятные, мямлющие телеграммы Иудовича командир железнодорожного полка только гмыкал. Уже вслух. Рассеять повывлазивших питерских полуштатских и запасных оказалось некому.

«Структура власти» для генерала Цабеля изменилась, теперь он напрямую подчинился железнодорожному Министерству. Он не очень переживал, хотя некоторое удивление внезапностью перемены «структуры власти» испытал. Но ему все равно было от кого получать приказы: квалификация его всегда при нем, полк тоже при нем и в порядке. Однако... после отречения «некоторое удивление» начало приобретать неожиданный оттенок нарастающей тревоги. И остальная солдатская масса при Ставке – тоже. Остальная-то масса ему была безразлична, но вот свои... И все – совершенно необъяснимо, как и нарастающая тревога в себе. Да ведь же и подвижные составы, и полотна, и стрелки, и ремтехника, электротехника, депо, связь и прочее – все осталось как и прежде. И солдатская кухня, вроде, не оскудела, такая же, как и до второго числа. Что происходит? Прагматик-реалист до мозга костей, уверенный, что в материальном мире все должно быть понятно, генерал Цабель недоумевал, особенно по ночам, когда необъяснимая тревога, тоской наполнявшаяся, усиливалась. И своему состоянию нашел такое определение: будто, положим, в августе, купается он в Москве-реке, в самом широком месте, и вдруг – бац! (именно – бац!) вода начинает резко и непонятно отчего (хоть

и в материальном мире) охлаждаться, а в лицо, торчащее из воды, задувает настоящим зимним ветром. Вода охлаждается все больше – вот уже и лед, замерзать начинает Москва-река, и ветер холодеет и усиливается. И, если нечеловеческими усилиями ломая лед, или по льду все-таки доберешься до берега, то там, мокрому, голому все равно нет тебе спасения от пронзающего зимнего ветра, невесть откуда взявшегося в августе... Отродясь в руки газет не брал – некогда, да и незачем, а тут вдруг решил взять. И первой взятой оказалась центральная «новой структуры власти» с отчетом бойкого авторитетного корреспондента, активного члена «новой структуры» о прощальной церемонии с офицерами и нижними чинами Ставки отрекшегося Царя, состоявшейся не далее как вчера, на которой генерал Цабель присутствовал лично. Что газеты, хоть даже и рупоры «структуры власти» врут, он предполагал, но что врут так! Он, безымоциональный, в общем, человек, просто обомлел, прочтя в отчете такое: «Когда бывший Царь, войдя в Собрание, пытался приветствовать его жалким виноватым голосом, то солдаты новой революционной армии в сознании чувства своей революционной гордости презрительным молчанием ответили на обращение к ним Николая Романова». Генерал Цабель плюнул в газету и отбросил ее. Если б это писалось с чужих слов – ладно, когда чужое вранье как свое передаешь – ладно, хоть какое-то тебе оправданье есть, но этот... авторитетный, рядом же стоял! А врунов генерал Цабель оч-чень не любил, и сам вруном никогда не был. Все пожелавшие собрались в большом зале, где когда-то, в мирное время (а было ли такое?) заседал Могилёвский окружной суд. Пожелавшими оказались *все* офицеры Ставки, кто в тот момент наличествовал, и около сотни человек нижних чинов. Собравшиеся разместились в несколько тесно сбитых рядов вдоль стен вокруг всего зала. Направо от входной двери стояли рядовые конвойцы, солдаты Георгиевского батальона, участники бравой поездки на Питер и застрявшие в Вырице, солдаты Сводного и кое-кто из писарей, всего человек шестьдесят. Слева около двери стоял сам Алексеев, за ним, по очереди, все управление штаба. Белые саблеобразные усы Алексеева мелко дрожали, вспотевшее лицо его находилось в том состоянии, про которое говорят, что лица нет. Мрачное, тягостное, нервно-стыдливое и напряженное молчание стояло в зале. Чувствовалось, что малейшего толчка было бы достаточно, чтобы вывести всю эту толпу из равновесия в полную непредсказуемость. Генерал Цабель в зал вошел одним из последних и оказался рядом с авторитетным членом «новой структуры власти» и его новоструктурного рупора. Самочувствие «члена» было гораздо хлестче, чем у Алексеева. Чужеродность свою среди этих солдат «член» осознавал вполне. Когда его «членский» взгляд падал на стоявшего напротив Георгиевского офицера (а как не упасть, когда – напротив?!), его тело начинало падать на пол. Наполненные слезами, глаза Георгиевского офицера тоже нет-нет, да и упирались своим Георгиевским взглядом в «членский» взгляд, и тогда «активный и авторитетный» готов был сорваться и что есть мочи деру дать от этого собрания-прощания, которое невесть чем может закончиться. Питерские «новые структуры» категорически восстали против этого прощания и предписали «члену» сделать все, чтобы оно не состоялось. Из всего, что предписывалось сделать «члену», он сделал одно единственное и оно же последнее: при встрече с Государем (теперь это запросто) он объявил Ему, что «новые структуры» в лице Временного правительства категорически против этого демонстративного прощания. Ответа «член» не удостоился, он удостоился отрицательного кивка головой и – взгляда. В «членском» сознании миг выдулось-испарилось «безвольный» – то, чем наполнено было оно, имея в виду личность Того, Кто не удостоил его слова, но удостоил взгляда, от которого «члена» оторопь взяла. Державное спокойствие, печаль всепонимания о том, что происходит и каменное бесстрашие – все это единым сгустком ударило в «членское» сознание. Вопрос о том, чтобы идти против этого сгустка отпал сразу, и вот, стоит он теперь напротив Георгиевских непредсказуемых слез, со страхом ожидая, что будет дальше.

Генерал Цабель, видя состояние соседа, только гмыкал, устало вздыхая: «Да не дергайся, ничего не будет, кроме нескольких рыданий и нескольких обмороков. Если Георгиевские кав-

леры, в честь неисполнения приказа о спасении Самодержца собираются зарыдать, остается только одно: зарыдать вместе с ними. Или содрать с них Георгиев, что потом и сделают „восторженные“ по другим поводам...»

Эх, как четвертого марта, когда уже все неотвратимо совершилось, возвращался из Вырицы генерал Иудович Иванов со своими орлами! Как, выгрузившись, вышагивали, как сапогами браво грохали они, проходя мимо Государева дворца!.. Как лихо рывкнуто Иудовичем перед окном Его: «Сми-и-ир-рна! Глаз-за наппра-аво!!» Исполнено было блестяще. Как на параде на Марсовом поле до войны. И вспомнились сейчас генералу Цабелю те глаза Государевы из окна, на своих Георгиевцев, сапогами грохающих, смотрящие...

Царские глаза он наблюдает давно: доклады и выслушивание приказов стало для генерала нормой, и никогда в этих глазах он не видел укоризны, даже когда докладывающий заслуживал не то что укоризны, а плетки. И тут смотрела из окна не укоризна, но – усталая горечь.

Генерал Иудович Иванов, поднимаясь тогда по лестнице в кабинет для доклада о вояже, наткнулся на дворцового коменданта Воейкова. И как раз рядом оказался генерал Цабель. Пышная бородища Иудовича была пышна как всегда, но глазки свои от по-всегдашнему ироничных воейковских он все-таки отвел. К тому ж, в этот раз из них сквозила не только ирония.

Как бы слегка запыхиваясь, Николай Иудович Иванов спросил Воейкова:

– Государь ждет?

– Ждал.

Шевельнулась бородища, будто в челюсть, ею загороженную – удар.

Воейков всегда отвечал только на вопросы и никогда не позволял себе их комментировать и развивать, но со 2-го числа голосом своим управлял не всегда. И если б можно было слышать сейчас комментарий от шевеления его мощного черного густоусия, то услышал бы такое:

– Теперь твой доклад даже твоим новым хозяевам нужен не больше тебя самого.

Двенадцать лет назад Пермский губернатор Наумов во главе «пьяной» обезумевшей банды «повылазивших» сам нес красную тряпку (из цыганской рубахи перелицованную), на вытянутых руках нес... к своему Губернаторскому дому. Было такое.

Тогда у Воейкова его оба мощных уса вообще едва не отвалились, когда он читал покаянное наумовское донесение об этом «несчастье». Так комментировал это сам Наумов, который просто был милостиво уволен. Сейчас, слушая дальнейшую бесконечную сбивчивость генерала от инфантерии, черноусие замерло и ничего не комментировало.

– Сначала благополучно... да-да, я уверен, что сделал все, что мог. Я останавливал поезда, проверял пассажиров, дезертиров арестовывал... Я по всей линии навел порядок!..

Услышав последнюю фразу, генерал Цабель гмыкнул вслух и весьма громко. В гмыке звучал вопрос: «А тебя зачем посылали-то? Раз порядок на линии навел, до конца линии чего не добрался? Тебя ж Царь назначил командующим Петроградским округом...»

Глазкобеганье над бородищей стало еще беготливей:

– Я проснулся первого числа часов в шесть-семь и узнал, что поезд находится на станции «Дно», то есть, вместо 500 верст проехали 200...

Услышав такое, генерал Цабель даже не гмыкнул, а у Воейкова только слегка рот под усами приоткрылся. Вовремя спатеньки захотелось командующему, ну никак не стерпеть! Разобрало... А орлы Георгиевские тоже по гнездышкам спали?

Меж тем из бородищи, под аккомпонимент беззвучный глазкобеганья журчало, продолжало:

– Комендант станции доложил, что солдаты из Питерского поезда, кто в военном, кто в полуштатском, кто в чем – отбирают у офицеров оружие. Ну, в общем... начальник жандармского управления ничего сделать не может, просит содействия.

Тут Воейков не выдержал, и из-под черных усов мрачно прозвучало:

– Ну, у кого ж просить содействия, как не у Георгиевских кавалеров?..

– Да, легко говорить... На станции Сусанино, когда нас в тупик поставили... рельсы разобрали!..

– Вас?! В тупик поставили?! Рельсы разобрали?! – уже не ударом, а плевком вырвалось из-под вскинувшихся черных усов.

– Уже телеграмма Бубликова мне была приказная...

– Вам – приказная?!

Кто такой Бубликов, Воейков знал. Узнал в день отречения, еще когда оно не состоялось. Уже тогда этот Бубликов, путейский инженер, самозванный думский выдвиженец, то ли социал, то ли кадет, то ли еще как одет – породу каждого из думской своры Воейков всегда путал, пытался директивничать на железных дорогах, рассылая телеграммы, отчаянно при этом боясь получить справедливое возмездие от законной власти.

– И зря вы так смотрите, Владимир Николаич, – возвысил вдруг голос Иудович и... осекся сразу.

Из воейковских глаз также брызнуло: «Я те сейчас возвышу!..» – слабейшее из того, что можно сказать об этом брызганьи. Слегка отдышавшись, Воейков спросил:

– И что же сей Бубликов *вам, Командующему Петроградского военного округа*, приказал?

– Он приказал моему эшелону не двигаться.

На это генерал Воейков ничего не сказал, а генерал Цабель вновь гмыкнул вслух.

– А мне еще была телеграмма Алексеева!.. – почти уже истерично продолжал генерал Иванов, – где он сообщал, что в Питере наступило полное спокойствие! И что войска, примкнувшие к Временному правительству, приводятся в полный порядок! Временное правительство...

– Это какое ж? – перебил вдруг Воейков. – Которого не было? Думские самозванцы? И как это – примкнули?

Воейков только вчера узнал об этой лживой телеграмме Алексеева. В следующей за ней телеграмме Иудовичу за подписью Родзянко и Гучкова значилось: «№185. Генерал Алексеев телеграммой от сего числа (3.III) уведомляет телеграммой №1892 о назначении главкомом П.О. генерал-лейтенанта Корнилова и Вам приказывает возвращаться в Могилёв». На это генерал Иванов передает Гучкову трогательный ответ: «Рад буду повидать Вас на станции Вырица»...

И тут генерал Иванов сошел почти на крик:

– Да я уже ничего не мог сделать! Явились агитаторы, и Георгиевцы разложились! Они больше не повиновались!.. А генерал Пожарский так и сказал, что команду стрелять в народ он не даст! А сами Георгиевцы его ответ «разъяснили»: их батальон будет нейтрален! А две дивизии с фронта, что к Георгиевцам шли, тоже, по слухам, оказались ненадежны!..

Усы Воейкова снова сделали движение, а генерал Цабель от такого сообщения опять гмыкнул вслух. «По слухам?!» Если для Георгиевцев бунтующая пьяная чернь – народ, остается только промолчать. Раз безмолвствующий народ хочет не безмолвствовать, а восторгаться – вперед!

Глава 9

Весть о назначении Корнилова Воейков воспринял пожатием плечами: мол, а что, может оно и ничего. О том, что происходит и будет происходить в Царском, он не знал, как не знал и того, что приказ думцев об аресте Государя, скрепленный подписью Корнилова, при полной готовности Алексеева, уже отправлен в Могилёв. Он помнил Корнилова, когда после плена Государь принимал его во дворце и здесь, в Ставке, как вручал ему самолично золотое оружие и Георгия, как назначил командовать 25-м корпусом, как за семейный стол сажал, как Императрица и Великие княжны ухаживали за ним и Императрица обещала (и сделала) особое содействие Её лазарета его корпусу. Были и противники назначения Корнилова на корпус. Они объясняли это тем, что его дивизия в том бою, 29 апреля 15-го года, когда он попал в плен, была полностью разгромлена, и что комдиву в оборонительном бою надо не «отступить последним», а организовывать оборону. На это Государь отвечал, что большая часть вины в том разгроме лежит не на комдиве, а на общем, на Верховном командовании, которое возглавлял тогда Николай Николаевич. А сейчас, при нашем наступлении, нашем стратегическом превосходстве и близости победы главное – это дерзостный дух и преданность трону. И что Он именно на последнем качестве возлагает надежду на генерала Корнилова, назначая его комкором...

Сегодня новая власть в лице Алексеева навсегда удаляла Воейкова от отрекшегося Царя и последние слова его генералу Иудовичу были такие:

– Когда ваш эшелон отъезжал, Государь отбил телеграмму Государыне: «Выехали сегодня утром. Мыслями всегда вместе. Великолепная погода. Надеюсь, почувствуете себя хорошо и спокойно. Много войск послано с фронта. Любящий нежно Ники». А когда вы просыпались в своем вагоне в Вырице, Он меня тихо спросил: «Отчего он так тихо едет?» Не волнуйтесь, сейчас Он об этом вас спрашивать не будет.

Генерал Цабель снова традиционно гмыкнул: и про телеграмму и про вопрос этот он знал, все это через него проходило, и тогда тоже только гмыкать и приходилось. Сейчас, стоя в Ставке в ожидании прощального выхода Государя, он маялся и изнывал. Он вообще не хотел идти на прощание, и до сих пор толком не понимает, почему пошел, дел ведь прова: нужно обеспечить отправку двух поездов – Царского и Вдовствующей Императрицы, Царский – в Царское, а Вдовствующую Императрицу – на юг, и прием тоже двух – с новым Верховным Николаем Николаевичем, уже побывавшем в этом качестве, и думский с думцами, которые едут объявлять Государю об Его аресте, не зная еще, что Алексеев Ему об этом уже с удовольствием объявил. А объявил так: «Ваше Величество должны считать себя как бы арестованным». Услышав объявление, Государь даже чуть улыбнулся: «Спасибо за „как бы“.» 10 секунд плача, которые Он позволил себе при Воейкове прошли. Никакое известие про себя Его больше не волновало...

А потом этих думцев надо отправлять вместе с Царским поездом назад. А там и этот Бубликов будет! И должны б уж давно здесь быть, да на каждой станции вылезают и речи громогласные глаголят, грома старый режим. И Николай Николаевич, с Кавказа своего едучи, тем же занят!.. И с арестом этим тоже чехарда и тоже все на нем. Сначала в секретность играли и велели ему секретные поезда и вагоны готовить, потом, когда рассекретилось все, Алексеев, ставший здесь уже полным заправилкой, велел всю приготовленную секретность в лице двух паровозов и четырнадцати вагонов расформировать, рассредоточить и законсервировать, чтоб восторженные буяны их не захватили. В карманы себе, что ли, рассредоточить?! Однако, рассредоточил. И тут новое дело, и опять от Алексеева. Солдаты Ставки собираются митинговать на Базарной Могилёвской площади. Помешать этому никто не может и не собирается, но Алексеев велел офицерам обязательно присутствовать и при этом с погон снять Царские вензеля. Генерал Цабель гмыкнул, вздохнул, и тут в дверь зала вошел Государь. Все замерло.

Он был одет в серую кубанскую черкеску, без союзнических крестов, с одним своим Георгием на груди. Левая рука Его, с зажатой в ней папахой, лежала на эфесе шашки. Пожелтевшее похуевшее лицо Его выражало спокойствие, напряженность и сосредоточенность, а задумчивые глаза – печаль и жалость, будто отца-защитника увозят навсегда от детей-проказников, которые теперь беззащитны против своих проказ и внешних сил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.